

Из наследия
1872-1873

Лекции о будущности
наших образовательных учреждений

Пер. с нем. В.Невежиной

Ницше, Фридрих.

Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2005 – Т. 1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, В. Невежиной, И. Эбаноидзе и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2013. – 480 с. – С.333-432

Вступление

1

Заглавие, которое я дал моим лекциям, должно было, как полагается каждому заглавию, быть возможно более определенным, ясным и убедительным, но благодаря излишку определенности вышло, как я теперь вижу, чересчур кратким и вследствие этого опять-таки неясным. Поэтому я должен начать с объяснения моим почтенным слушателям этого заглавия, а тем самым и задачи самих лекций и, если потребуется, даже извиниться за него перед ними. Итак, если я обещал говорить о будущем наших образовательных учреждений, то я при этом вовсе не имел в виду специально будущего развития наших базельских учреждений этого рода. Пусть вам нередко покажется, что многое из моих общих утверждений может быть пояснено на примере наших местных учебных заведений; все же не я делаю эти пояснения и поэтому отнюдь не желал бы нести ответственность за них. И это именно по той причине, что я считаю себя слишком чужим и неопытным и слишком мало еще освоившимся со здешними условиями для того, чтобы правильно оценивать данную специальную конфигурацию образовательных условий или с уверенностью рисовать ее будущее. С другой стороны, я слишком хорошо сознаю, в каком месте мне предстоит читать эти лекции, а именно в городе, который в непропорционально грандиозном масштабе, положительно пристыжающем другие более обширные государства, стремится содействовать образованию и воспитанию своих граждан. Поэтому я, конечно, не ошибусь, если предположу, что там, где настолько больше *делают* в этой области, там о ней настолько же больше и *думают*. И моим желанием, мало того, предварительным условием успешности моего дела должно быть духовное общение со слушателями, которые так же много думали над вопросами образования и воспитания, как и полны желания содей-

ствовать делом тому, что признали правильным. При грандиозности задачи и краткости времени я буду понятен лишь для таких слушателей; они должны тотчас же угадывать то, о чем пришлось умолчать, ибо предполагается, что они вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Если я таким образом вынужден безусловно отклонить от себя репутацию непрошенного советчика в вопросах базельской школы и образования, то еще менее думаю я о том, чтобы с горизонта современных культурных народов предсказывать грядущие судьбы образования и его органов. Эта чудовищная даль кругозора слепит мой взор, подобно тому, как и чрезмерная близость лишает его уверенности. Итак, под именем *наших* образовательных заведений я понимаю не специально базельские и не бесчисленные формы учебных заведений широкой, охватывающей все народы современности, но лишь *немецкие учреждения* этого рода, с которыми мы имеем удовольствие сталкиваться даже здесь. Нас должно занимать будущее этих немецких учреждений, т.е. будущее народной немецкой школы, немецкого реального училища, немецкой гимназии, немецкого университета. При этом мы до поры будем воздерживаться от всяких сравнений и оценок, и особенно будем остерегаться лестной иллюзии, будто наши условия являются общими, всюду пригодными и непревзойденными образцами для других культурных народов. Достаточно того, что это наши школы и что они не случайно стоят в связи с нами. Они ведь не навешаны на нас извне, как какая-нибудь одежда, но, будучи живыми памятниками выдающихся культурных движений, в некоторых формациях даже «скарбом отцом», соединяют нас с прошлым народа и являются в существенных чертах таким святым и достоцитым наследием, что я могу говорить о будущем наших учебных заведений лишь в смысле наивозможнейшего приближения к идеальному духу, из которого они родились. При этом для меня несомненно, что многочисленные изменения, которые наше время позволило себе произвести над ними, чтобы сделать их «современными», по большей части лишь искажения изначальной возвышенной тенденции, лежащей в их основе, и отклонения от нее. И от будущего мы в этом отношении смеем ожидать общего обновления, освежения и прояснения немецкого

духа, которое позволит ему до известной степени заново породить эти учреждения; и последние после этого рождения будут казаться одновременно и старыми, и новыми, тогда как теперь они большей частью претендуют лишь на то, чтобы быть «современными» и «своевременными».

Лишь в смысле такой надежды говорю я о будущем наших учебных заведений; и это второй пункт, относительно которого я должен в виде извинения объясниться с самого начала. Величайшее из всех притязаний – это желание быть пророком, поэтому смешно звучит даже и отказ от этого притязания. Никто не должен был бы высказываться в пророческом тоне о будущем нашего образования и связанной с ним будущности воспитательных средств и методов, если он не в состоянии доказать, что это будущее образование в какой-то мере уже является настоящим, которому следует лишь разрастись и распространиться вокруг, чтобы оказать должное влияние на школу и воспитательные учреждения. Пусть же позволят мне, подобно римскому гаруснику, предугадать внутренности по внутренностям настоящего – что в данном случае значит не более и не менее, как обещать в будущем победу одной из уже существующих образовательных тенденций, даже если она в данный момент не пользуется ни любовью, ни уважением, ни популярностью. Но я с величайшей уверенностью допускаю, что она победит, ибо имеет великого и могучего союзника – *природу*. Ведь мы, разумеется, не можем замалчивать того, что многие предпосылки наших современных методов образования носят характер неестественности, и наиболее роковые слабости нашей современности стоят в связи именно с этими неестественными методами образования. Тот, кто чувствует себя вполне солидарным с этой современностью и принимает ее как нечто «само собой разумеющееся», не возбуждает нашей зависти ни этой уверенностью, ни этим сомнительным по своему происхождению модным оборотом «само собой разумеется». Тот же, кто, достигнув противоположной точки зрения, готов прийти в отчаяние – тому уже нечего бороться, ему достаточно лишь отдаться уединению, чтобы вскоре остаться одному. Однако между теми «само собой разумеющимися» и этими одинокими стоят *борющиеся*, то есть преисполненные надежды, их наиболее

благородный и возвышенный выразитель, наш великий Шиллер, как его охарактеризовал Гёте в эпилоге к «Колоколу»:

Его ланиты зацвели румяно
Той юностью, конца которой нет,
Тем мужеством, что поздно или рано,
Но победит тупой, враждебный свет,
Той верой, что дерзает неустанно
Идти вперед, терпеть удары бед,
Чтоб, действуя, добро росло свободно,
Чтоб день пришел тому, что благородно.

Пусть все, до сих пор мною сказанное, послужит для моих почтенных слушателей предисловием, задача которого – иллюстрировать заглавие моих лекций и защитить его от возможных недопониманий и неоправданных требований. И чтобы теперь, у преддверия моих рассуждений, переходя от заглавия к делу, описать общий ход мыслей, руководясь которым мы будем вести обсуждение наших образовательных учреждений, я должен прибить у этого преддверия, в виде геральдического щита, ясно сформулированный тезис, который будет напоминать каждому входящему, в чей дом и усадьбу он должен вступить – если только после ознакомления с этим геральдическим щитом он не предпочтет повернуться спиной к дому и усадьбе, характеризваемым таким вот образом. Мой тезис гласит: два мнимо противоположных течения, одинаково губительных по воздействию и в конечном счете совпадающих по результатам, господствуют в настоящее время в наших, первоначально основанных на совершенно иных фундаментах, образовательных учреждениях: с одной стороны, стремление к возможно большему *расширению образования*, с другой стороны, стремление к *уменьшению и ослаблению его*. Сообразно первому стремлению следует переносить образование во все более широкие круги; сообразно второй тенденции предполагается, что образование должно отречься от своих чересчур автономных притязаний и встать в служебное и подчиненное отношение к другой жизненной форме, а именно к государству. Перед этими роковыми тенденциями к расширению и сокращению пришлось бы впасть в безнадежное от-

чаяние, если бы не представлялось возможным содействовать победе двух противоположных истинно немецких и одинаково богатых будущих тенденций, т.е. стремлению к *сужению и сосредоточению образования* (как противовес возможно большему расширению его) и стремлению к *усилению и самодостаточности образования* (как противовес его сокращению). Если же мы верим в возможность победы, то право на это дает нам сознание, что обе эти тенденции, расширения и сокращения, настолько же противоречат вечно неизменным намерениям природы, насколько необходимым законам этой же природы, и вообще истиной является сосредоточение образования на немногих избранных, тогда как на тех двух стремлениях может быть основана лишь лжекультура.

Предисловие,
которое следует прочесть перед лекциями,
хотя оно, собственно говоря,
к ним не относится

1

Читатель, от которого я чего-либо ожидаю, должен обладать тремя качествами. Он должен оставаться спокойным и читать не торопясь; не примешивать постоянно самого себя и свое «образование»; не ожидать в конце, как бы в виде результата, таблиц. Таблиц и новых расписаний уроков для гимназий и реальных училищ я не обещаю и, наоборот, дивлюсь необычайной природе тех, кто в состоянии отмерить весь путь от глубины эмпирии до высот собственно культурных проблем и затем снова спуститься оттуда в низины самого засушенного регламента и кропотливого составления таблиц. Я доволен уже, если, запыхавшись, заберусь на достаточно высокую гору и смогу сверху наслаждаться открывшимся видом: поэтому именно в этой книге я не буду в состоянии удовлетворить любителей таблиц.

Я, правда, вижу приближение времени, когда серьезные люди, совместно трудящиеся на пользу полностью обновленного и очищенного образования, сделаются снова законодателями повседневного воспитания – воспитания, направленного именно к такому образованию. Вероятно, они тогда снова будут составлять таблицы. Но как далеко это время! И чего только не случится в промежутке! Быть может, между ним и настоящим лежит уничтожение гимназии, пожалуй, даже и самого университета, или, по крайней мере, такое полное преобразование этих учебных заведений, что их старые таблицы представятся позднейшим взором пережитками эпохи свайных построек.

Книга эта предназначена для спокойных читателей, для людей, которые еще не захвачены головокружительной спешкой нашего стремительно катящегося века и которые еще не испытывают идолопоклоннического наслаждения от того, чтобы быть раздавленными его колесами – то есть для немногих! Зато они еще не привыкли измерять ценность каждой вещи экономией или потерей времени, у них «еще есть время»; им позволительно, не упрекая самих себя за это, избирать самые лучшие часы дня и самые плодотворные и ценные минуты для того, чтобы отдать их думам о будущем нашего образования, они вправе верить, что проживут день полезно и достойно *meditatio generis futuri*¹. Такой человек не разучился еще думать во время чтения, он еще владеет секретом чтения между строк; да, он создан даже таким расточителем, что сверх того еще размышляет над прочитанным, быть может, долгое время спустя после того, как отложит в сторону книгу! И не для того, чтобы написать рецензию или опять-таки книгу, но просто чтобы поразмышлять. Достойный наказания мот! Он, кто достаточно спокоен и беззаботен, чтобы отправиться вместе с автором в длинный путь, цели которого с полной ясностью увидит лишь далекое будущее поколение! Если же читатель в страшном возбуждении готов немедленно перескочить к делу, если он хочет сорвать с мгновения плоды, за обладание которыми ведет трудную борьбу весь род человеческий, то мы опасаемся, что он не поймет автора.

Наконец, следует третье, самое важное из требований, предъявляемых к читателю: чтобы он по привычке современного человека ни в коем случае не примешивал на каждом шагу себя и свое «образование» как надежный масштаб и критерий всех вещей. Мы хотели бы видеть его образованным настолько, чтобы иметь самое невысокое, пренебрежительное мнение о своем образовании. Тогда он, вероятно, доверчивее всего отдастся под руководство автора, который осмеливается так говорить с ним, именно исходя лишь от незнания и знания об этом незнании. Для себя же автор хочет претендовать лишь на сильно обостренную чуткость к специфике нашего современного немецкого вар-

¹ размышлений о будущих поколениях (*лат.*).

варства, того, что столь странно отличает нас, варваров XIX столетия, от варваров других эпох.

С этой книгой в руках он отыскивает читателей, волнующих подобным же чувством. Откликнитесь вы, разъединенные, в существование которых я верю! Вы, отрекшиеся от своего «я», выстрадавшие на самих себе все муки порчи немецкого духа; вы, созерцатели, чьи глаза не обшаривают в спешке поверхность вещей, но умеют добраться до ядра их сущности; вы, высокие духом, которых Аристотель восхвалял за то, что вы проходите через жизнь медлительно и бездеятельно до тех пор, пока вас не потребует высокая доблесть или великое дело, вас призываю я! Не уползайте только на этот раз в норы вашей отчужденности и вашего недоверия! Будьте по крайней мере читателями этой книги, дабы затем, через свои деяния, предать ее небытию и забвению! Подумайте, что эта книга должна стать вашим герольдом. Но ведь если вы сами, в собственных доспехах появитесь на поле битвы, то кому же тогда придет охота оглянуться назад на герольда, который вас призывал?

Лекция I

Мои уважаемые слушатели, тема, над которой вы намереваетесь размышлять вместе со мной, так серьезна и важна и в известном смысле так тревожна, что я и на вашем месте пошел бы к каждому, кто обещал бы научить меня чему-либо относительно ее, – хотя он был бы и очень молод и мне казалось бы невероятным, что он в состоянии от себя, собственными силами дать что-нибудь удовлетворяющее и соответствующее такой задаче. Ведь было бы возможно, что он хотя бы *слышал* что-либо правильное насчет тревожного вопроса о будущности наших образовательных учреждений и готов с вами поделиться; было бы возможно, что он имел выдающихся учителей, которым уже скорее приличествует предрекать будущее, особенно если они, подобно римским гаруспикам, гадают по внутренностям настоящего.

В действительности и случилось нечто подобное. Однажды, в силу странных, но, в сущности, вполне невинных обстоятельств, я был свидетелем разговора, который вели на эту тему два замечательных человека, и в моей памяти так крепко запечатлелись основные пункты их рассуждений и все понимание и постановка данного вопроса, что с тех пор, задумываясь над подобными вещами, я сам всегда попадаю в ту же колею, с той лишь разницей, что я часто не обладаю тем непоколебимым мужеством, которое, к моему удивлению, обнаружили тогда эти люди, – как в смелом высказывании запретных истин, так и в еще более смелом построении собственных надежд. Тем полезнее казалось мне закрепить когда-нибудь письменно такой разговор, чтобы привлечь и других к обсуждению этих из ряда вон выходящих взглядов и мнений. И для данной цели мне по особым причинам кажется удобным воспользоваться именно этими публичными лекциями.

Я очень хорошо сознаю, где именно я рекомендую к общему рассмотрению и обсуждению вышеупомянутый раз-

говор – в городе, который содействует образованию и воспитанию своих граждан в непропорционально широком масштабе – в масштабе, который должен был бы пристыдить более обширные государства; так что я, конечно, не ошибусь, высказывая предположение, что там, где настолько больше *делают* для этих вещей, о них настолько же больше и *думают*. Поэтому замечу, что при передаче упомянутого разговора я буду вполне понят лишь теми слушателями, которые немедленно отгадывают то, на что можно было лишь намекнуть, дополняют то, о чем пришлось умолчать, которые вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Позвольте же теперь, уважаемые слушатели, перейти к рассказу пережитого мною невинного события и менее невинного разговора до сих пор не названных мною личностей.

Представьте себе состояние молодого студента, то есть то состояние, которое при безудержном и стремительном движении нашего времени является прямо чем-то невероятным и которое надо пережить, чтобы поверить в возможность такого беззаботного самоубаюкивания, такого отвоёванного у минуты и словно бы потерявшего счет времени довольства. В таком состоянии провел я вместе с одним товарищем и ровесником один год в университетском городе Бонне на Рейне. Год этот, не связанный, благодаря отсутствию всяких планов и целей, ни с какими намерениями будущего, рисуется моему теперешнему восприятию почти каким-то сном, выделенным рамками предыдущих и последующих промежутков бодрствования. Нам обоим никто не мешал, хотя мы жили в среде многолюдного товарищеского союза, волнуемого в сущности, иными стремлениями; и только время от времени нам приходилось удовлетворять или отклонять чересчур настойчивые требования наших сверстников. Но даже эта игра с противонаправленной стихией носит теперь, когда я ее вспоминаю, сходство с теми помехами, которые каждый переживает во сне, когда, например, кажется, будто сейчас полетишь, но какие-то необъяснимые препятствия тянут тебя вниз.

У меня, и у моего друга была масса общих впечатлений из предыдущего периода нашего бодрствования, из нашей гимназической жизни, и об одном из них я должен упомянуть подробнее, так как он образует переход к пережитому

мной невинному событию. Во время одного из предыдущих путешествий по Рейну, предпринятому в конце лета, у меня и у моего друга почти в одно время и в том же самом месте, но совершенно самостоятельно возник один и то же план, и это необычайное совпадение вынудило нас привести его в исполнение. Мы решили основать небольшой союз из нескольких товарищей, который бы являлся прочной и налаживающей обязанности организацией, служащей для удовлетворения наших творческих наклонностей в области искусства и литературы. Говоря скромнее, каждый из нас должен был обязаться ежемесячно посылать собственное произведение, будь то стихотворение, статья, архитектурный проект или музыкальное произведение, – и каждому из остальных предоставлялось право с неограниченной откровенностью дружественной критики судить об этом произведении. Таким образом мы надеялись взаимным надзором поощрять и одновременно держать в узде наши образовательные стремления. И действительно, успех этого плана был таков, что мы навсегда сохранили благодарное, даже торжественное чувство к тому моменту и месту, которые нам внушили эту затею.

Для этого чувства вскоре нашлось и подходящее оформление: мы взаимно обязались друг перед другом, если представится только какая-нибудь возможность, ежегодно посещать в этот день уединенное местечко у Роландсека, где мы некогда, в конце лета, сидя в задумчивости друг рядом с другом, внезапно почувствовали себя осененными одним и тем же намерением. Собственно говоря, это обязательство недостаточно строго соблюдалось нами; но именно потому, что на нашей совести тяготел неоднократный грех такого упущения, мы оба в год боннского студенчества, когда наконец снова надолго поселились на Рейне, твердо решили не только исполнить наш закон, но и удовлетворить наше чувство, наше благодарное одушевление и в данный день благоговейно посетить местечко у Роландсека.

Это оказалось для нас довольно затруднительным: так как именно в этот день наш веселый и многочисленный студенческий союз, препятствовавший нашему полету, задал нам массу дела и изо всех сил натягивал нити, которыми мог задержать нас. Наш союз назначил на этот день боль-

шую праздничную поездку в Роландсек, чтобы в конце летнего семестра еще раз собрать всех членов и отпустить их затем по домам с лучшими прощальными воспоминаниями.

Стоял один из тех прекрасных дней, какие, по крайней мере в нашем климате, только и бывают в эту пору лета: небо и земля гармонично и спокойно плыли рядом, чудесно слиты из солнечного тепла, осенней свежести и лазурной бесконечности. В пестрых фантастических костюмах, которыми, при траурности прочих одеяний, теперь вправе щеголять только студенты, разместились мы на пароходе, празднично разукрашенном в нашу честь вымпелами, и водрузили на его палубе знамена нашего союза. С обоих берегов Рейна время от времени раздавались сигнальные выстрелы, которыми, согласно нашему распоряжению, прибрежные жители, и прежде всего хозяин гостиницы в Роландсеке, оповещались о нашем приближении. Я не буду рассказывать ни о шумном шествии от пристани через взбудораженно-любопытствующее местечко, ни о тех не всякому понятных развлечениях и шутках, которые мы себе позволяли в своем кругу. Я обхожу молчанием постепенно оживлявшийся и ставший под конец буйным праздничный обед и невероятный музыкальный дивертисмент, в котором приняли участие все сотрапезники, выступая то отдельно, то общим хором, и дирижировать которым пришлось мне как музыкальному руководителю нашего союза, разучившему предварительно эту музыку со всеми. Во время несколько дикого и все ускорявшегося финала я успел сделать знак своему другу, и сейчас же после завывающего заключительного аккорда мы оба исчезли за дверью; сзади нас как бы сомкнулась ревущая пропасть.

Внезапная освежительная, затаившая дыхание тишина природы. Тени стали уже шире, солнце рдело неподвижно, но низко, и от зеленоватых волн Рейна веяло легкой прохладой на наши разгоряченные лица. Празднование памяти нашего переживания приходилось на более поздние часы дня, и поэтому мы решили отдать последние светлые минуты дня одной из тех наших одиноких любимых забав, которых у нас в ту пору хватало в избытке.

Мы увлекались тогда стрельбой из пистолетов, и каждому из нас этот навык впоследствии весьма пригодился

для военной службы. Служитель нашего союза знал наше стрельбище, лежащее наверху в некотором отдалении, и принес туда заранее наши пистолеты. Это место находилось у верхней опушки леса, покрывавшего холмы за Роландсеком, на маленьком неровном плато, совсем близко от почитаемого нами места основания нашего общества. На лесистом склоне, в стороне от места стрельбы, находилась маленькая безлесная полянка, как бы манящая к отдыху. Оттуда сквозь деревья и кустарники открывался вид на Рейн; как раз напротив красиво изогнутые линии Зибенгебирге и главным образом Драхенфельс обрамляли горизонт, смыкаясь с деревьями, а центр этого закругленного выреза образовал сам сверкающий Рейн, держащий в объятиях остров Нонненверт. Это и было наше место – место, освященное общими мечтами и планами; мы хотели и должны были здесь уединиться в более поздний вечерний час, чтобы закончить день так, как того от нас требовал наш обет.

В стороне, на упомянутой маленькой неровной площадке, стоял могучий дубовый пенёк, одиноко возвышаясь среди безлесной поляны и низких волнообразных возвышенностей. На этом пне мы когда-то соединенные усилиями вырезали отчетливую пентаграмму, которая еще сильнее растрескалась от непогоды и бурь последних лет и представляла из себя удобную мишень для нашего стрелкового искусства. Был уже предвечерний час, когда мы пришли к нашему стрельбищу, и от дубового пня падала широкая заостренная тень на голую поляну. Было очень тихо: высокие деревья у наших ног закрывали вид на Рейн внизу. Тем оглушительней зазвучал вскоре в этом уединении раскатистый резкий звук наших выстрелов, и едва я выпустил вторую пулю в пентаграмму, как почувствовал, кто-то крепко схватил меня за руку, и увидел, что и моему другу таким же образом мешают зарядить пистолет.

Быстро обернувшись, я увидел рассерженное лицо какого-то старика и почувствовал в то же время, как на спину мне прыгнула большая собака. Прежде чем мы, т.е. я и мой товарищ, которого также держал другой человек помоложе, смогли произнести слова удивления, раздалось угрожающее и резкое интонации старика.

«Нет, нет, – закричал он на нас, – здесь нельзя устраивать дуэли! И меньше всего пристало это вам, господа учащиеся юноши! Прочь пистолеты! Успокойтесь, помиритесь, протяните друг другу руки! Как? Вы – соль земли, интеллигенция будущего, семя наших надежд – и вы не можете отрешиться от вздорного катехизиса чести с его законами кулачного права! Я не собираюсь апеллировать к вашим сердцам, но вашим головам это делает мало чести. Вы, чью молодость взлелеяли язык и мудрость Эллады и Лациума и чей юный ум с малых лет был предметом драгоценных забот, направленных на озарение его светлыми лучами всей мудрости и всего благородства прекрасного мира древности, – вы хотите сделать руководящей нитью своего поведения кодекс рыцарской чести, т.е. кодекс невежества и грубости? Вглядитесь же в него как следует, переведите его на точные понятия, разоблачите его жалкую ограниченность и сделайте его пробным камнем не вашего сердца, но вашего ума. И если последний теперь его не отторгнет, то ваша голова не способна работать в той области, где необходимыми условиями являются энергичная сила суждения, легко разрывающая узы предрассудка, правильно рассуждающий ум, который в состоянии отделить истину от лжи даже там, где различие глубоко скрыто, а не лежит, как здесь, на поверхности. А в таком случае, милейшие, ищите другого честного пути в жизни, идите в солдаты или выучитесь ремеслу – это золотое дно».

На эту грубую, хотя и правдивую речь мы стали возбужденно отвечать, постоянно перебивая друг друга: «Прежде всего вы ошибаетесь в главном, так как мы пришли сюда вовсе не для дуэли, но чтобы поупражняться в стрельбе из пистолетов. Во-вторых, вы, по-видимому, совсем не знаете, как происходит дуэль: неужели вы думаете, что мы встретились бы друг с другом в этом уединенном месте как два разбойника, без секундантов, без врачей и т.д.? В-третьих, у каждого из нас своя точка зрения в вопросе о дуэли, и мы не желаем, чтобы на нас обрушивались с непрошенными поучениями вроде ваших и навязывали их нам».

Этот, разумеется, далеко не вежливый отпор произвел дурное впечатление на старика. Сначала, поняв, что дело идет не от дуэли, он стал дружелюбно смотреть на нас. Но

наши заключительные слова раздосадовали его так, что он начал ворчать. Когда же мы позволили себе говорить о своих собственных точках зрения, он подхватил своего спутника и резко повернулся, с горечью крикнув нам вслед: «Следует иметь не только точки зрения, но и мысли». А спутник воскликнул: «И почтение, даже если такой человек и ошибается».

Тем временем мой приятель успел зарядить свой пистолет и с криком «берегись» снова выстрелил в пентаграмму. Этот треск, немедленно раздавшийся за его спиной, разъярил старика; он еще раз обернулся, с ненавистью посмотрел на моего приятеля и сказал, обращаясь к своему младшему спутнику более мягким голосом: «Что нам делать? Эти молодые люди приводят меня в отчаяние своими выстрелами».

«Я довожу до вашего сведения, – обратился к нам младший, – что ваши шумные забавы в данном случае являются настоящим покушением на философию. Обратите внимание на этого почтенного человека – он готов попросить вас больше здесь не стрелять. А когда просит такой человек...» – «Тогда такую просьбу, конечно, исполняют», – перебил его старик и строго посмотрел на нас.

В сущности, мы не знали хорошенько, как отнестись к подобному происшествию. Мы не понимали ясно, что общего имеют наши несколько шумные забавы с философией, и не представляли себе, почему мы в силу непонятных уступок вежливости должны покинуть наше стрельбище, так что, вероятно, выглядели в ту минуту нерешительными и раздосадованными. Спутник заметил наше минутное замешательство и объяснил нам суть дела. «Мы вынуждены, – сказал он, – подождать несколько часов здесь в вашем ближайшем соседстве, так как сговорились встретиться здесь сегодня вечером с одним знаменитым другом этого выдающего человека; для этой встречи мы выбрали спокойное место с несколькими скамейками здесь, в кустах. Не особенно приятно, если непрерывные выстрелы будут беспрестанно вспугивать нас. Но мы предполагаем, что вы сами найдете невозможным продолжать вашу стрельбу, узнав, что перед вами один из наших первых философов, избравший это спокойное и уединенное место для свидания со своим другом».

Это разъяснение еще больше встревожило нас: мы почувствовали приближение опасности куда большей, чем изгнание со стрельбища, и поспешно спросили: «Где ваше спокойное место? Неужели здесь налево, в кустах?»

– Именно здесь.

– Но это место сегодня вечером принадлежит нам двоим, – воскликнул мой друг.

– Нам нужно это место, – воскликнули мы оба.

Наше давно задуманное празднество было для нас в данный момент важнее всех философов мира, и мы так оживленно и возбужденно выражали свои чувства, что, вероятно, выглядели немного смешными с нашим непонятым, но весьма настойчиво заявленным требованием. По крайней мере, философы, нарушители нашего спокойствия, смотрели на нас вопросительно улыбаясь, как будто мы должны были что-то сказать в свое оправдание. Но мы молчали, ибо ни в коем случае не хотели себя выдавать.

Так стояли обе группы молча, одна против другой, пока закат широко разливался по вершинам деревьев. Философ смотрел на солнце, спутник – на философа, а мы оба – на наше лесное убежище, которое именно сегодня подвергалось такой опасности. Чувство какой-то ярости овладевало нами. К чему вся философия, думали мы, если она мешает быть одним и уединенно радоваться с друзьями, если она препятствует нам стать самим философами. Ведь нам казалось, что наш праздник воспоминания совершенно философского характера; на этом празднике мы хотели выработать серьезные решения и планы для нашей будущей жизни; в уединенном размышлении надеялись мы найти нечто, чему суждено было бы в будущем так же повлиять на склад нашего внутреннего «я» и удовлетворить его запросы, как это сделала творческая деятельность предыдущих юношеских лет. Именно в этом и должен был состоять священный акт; мы ничего не предрешали заранее, а хотели только погрузиться в уединенное размышление, как тогда, пять лет тому назад, когда мы встретились и приняли общее решение. Это должно было быть молчаливое празднование, всецело – воспоминание, всецело – будущее, а настоящее – только лишь мысленная черта между ними. И вдруг враждебный рок вторгся в наш волшебный круг – и мы не знали,

как от него избавиться; а в странности совпадения нам даже чудилось что-то таинственное и притягательное.

Пока мы так некоторое время стояли молча, разделившись на враждебные группы, вечерние облака все сильнее розовели над нами, и вечер становился все спокойнее и мягче, а мы прислушивались к ровному дыханию природы, которая заканчивала дневную работу, довольная своим творением – совершенным днем. Вдруг тишину сумерек разорвал буйный, нестройный, ликующий клич, поднявшийся с Рейна; множество громких голосов были слышны вдалеке – это, вероятно, наши товарищи студенты, которые теперь захотели покататься на лодках по Рейну. Мы подумали о том, что нас там не хватает, и почувствовали, что и нам чего-то недостает. Почти одновременно с приятелем я поднял пистолет; эхо отбросило назад наши выстрелы и с ним вместе до нас донесся, как бы в виде ответного сигнала, хорошо знакомый крик снизу. Ибо мы пользовались в нашем союзе славой страстных, но плохих стрелков.

Но в тот же момент мы почувствовали все неприличие нашего поведения по отношению к молчаливым пришельцам-философам, которые до тех пор стояли, погруженные в спокойное созерцание, а теперь испуганно отскочили в сторону от нашего двойного выстрела. Мы поспешно подошли к ним и наперебой заговорили: «Простите! Мы выстрелили в последний раз, и это относилось к нашим товарищам на Рейне. Они это поняли. Слышите? Если вы во что бы то ни стало хотите занять то место слева в кустах, то позвольте по крайней мере и нам расположиться там. Там несколько скамеек, мы вам не помешаем; мы будем сидеть тихо и молчать. Но семь часов уже пробило, и мы *должны* быть на месте».

«Это звучит таинственнее, чем оно есть на самом деле, – добавил я после паузы. – Мы дали себе строгий обет провести там следующий час, на то у нас есть особые причины. То место освящено для нас хорошим воспоминанием, оно должно предвозвестить нам и хорошее будущее. Поэтому мы постараемся не оставить у вас плохого воспоминания – хотя мы уже неоднократно беспокоили и пугали вас».

Философ молчал, но его младший спутник сказал: «К сожалению, наши обещания и уговор связывают нас оди-

наковым образом с тем же местом и с тем же самым часом. Нам остается только выбирать, винить ли судьбу или какого-нибудь кобольда за такое совпадение».

«Впрочем, друг мой, – сказал философ примирительно, – я теперь более доволен нашими молодыми стрелками, чем раньше. Заметил ли ты, как они были спокойны, когда мы смотрели на солнце? Они не разговаривали, не курили, они стояли смиренно – я почти подозреваю, что они размышляли».

И быстро оборачиваясь к нам, спросил: «Вы уже размышляли? Об этом вы мне расскажете по пути к нашему общему месту отдохновения». Мы сделали несколько шагов вместе и вошли, спускаясь по склону, в теплую влажную атмосферу леса, где уже было темно. По дороге мой товарищ откровенно рассказывал философу свои мысли: как он боялся, что сегодня в первый раз философ помешает ему философствовать.

Старик засмеялся. «Как? Вы боитесь, что философ помешает вам философствовать? Подобные вещи случаются; а вы этого еще не испытывали? Разве вы не убедились в этом на опыте в своем университете? А ведь вы слушаете лекции по философии?»

Этот вопрос нас несколько смутил, ибо в последнем мы отнюдь не были повинны. А кроме того, тогда еще мы были полны невинной уверенности, что всякий, облеченный в университете чином и достоинством философа, уже есть философ: у нас толком не было опыта и мы были плохо осведомлены. Мы чистосердечно признались, что еще не слушали лекции по философии, но, конечно, со временем наверстаем упущенное.

«Но что вы называете, – спросил он, – своим философствованием?» «Мы затрудняемся с определением, – отвечал я, – но мы полагаем приблизительно, что хотели бы серьезно поразмыслить, как лучше всего стать образованными людьми». «Это много и мало, – пробормотал философ, – подумайте же хорошенько над этим. Вот наши скамейки; сядем как можно дальше друг от друга; я не хочу вам мешать размышлять о том, как вам стать образованными людьми. Желаю вам успеха и точек зрения, как в вашем вопросе о дуэли, самых самостоятельных, с иголки новеньких точек зрения. Философ не хочет вам мешать философ-

ствовать: так не пугайте его вашими пистолетами. Подражайте сегодня молодым пифагорейцам: они должны были молчать в течение пяти лет, чтобы стать служителями истинной философии. Быть может, и вам удастся помолчать в продолжении пяти четвертей часа, ради вашего будущего образования, которым вы так старательно занимаетесь».

Мы были у своей цели: наш праздник воспоминания начался. Снова, как пять лет тому назад, Рейн плыл в нежном тумане, снова, как тогда, сияло небо, благоухал лес. Мы приютились на крайнем конце самой отдаленной скамейки; здесь мы сидели почти спрятавшись, так что ни философ, ни его спутник не могли видеть наших лиц. Мы были одни; когда до нас долетал приглушенный голос философа, то под шелест и движение листвы, под жужжащий шум многих тысяч живых существ, кишящих в вышине леса, он становился почти музыкой природы; он превращался в звук, в далекую однотонную жалобу. Нам действительно ничто не мешало.

Так прошло некоторое время, в течение которого закат понемногу бледнел, а воспоминание о нашей юношеской образовательной затее все отчетливей вставало перед нами. Нам казалось, что этому нашему особенному кружку мы обязаны величайшей благодарностью. Он был для нас не просто дополнением к гимназическим занятиям, но настоящим плодотворным обществом, в рамках которого мы рассматривали и нашу гимназию как частное средство на службе нашего всецелого стремления к образованию.

Мы сознавали, что в то время, благодаря нашему союзу, мы никогда не думали о так называемой профессии. Слишком часто встречающаяся в эти годы эксплуатация со стороны государства, стремящегося создать себе как можно скорее пригодных чиновников и убедиться в их безусловной послушности посредством чрезмерно утомительных экзаменов, была совершенно чужда нашему образованию. И как мало нами руководило какое-нибудь соображение выгоды, расчет на быстрое производство и скорую карьеру, показывал утешительный сегодня для каждого из нас факт, что мы оба еще толком не знали, кем мы будем, и даже не беспокоились об этом. Эту счастливую беззаботность воспитал в нас наш союз; и именно за нее мы были ему от души благодарны на празднике воспоминания о нем. Я уже говорил,

что такое бесцельное наслаждение моментом, такое самоубаюкивание в кресле-качалке мгновения должно казаться невероятным, во всяком случае предосудительным, нашей враждебной всему бесполезному действительности. Как бесполезны мы были! И как гордились мы такой бесполезностью! Мы готовы были спорить, кто из нас более бесполезен. Мы не хотели ничего значить, ничего представлять, ничего не ставили себе целью; мы не хотели иметь будущего. Пусть мы только бесполезные бездельники, удобно растянувшиеся на пороге настоящего. Ими мы и были! Хвала нам!

Так, по крайней мере, представлялись нам вещи тогда, уважаемые слушатели!

Отдавшись такому торжественному самоанализу, я готовился уже в таком же самодовольном тоне ответить на вопрос о будущем *нашего* образовательного предприятия, когда мне начало вдруг казаться, что музыка окружающего мира, доносящаяся до нас с отдаленной философской скамьи, потеряла свой прежний характер и звучала все настойчивее и членораздельное. Внезапно мне стало ясно, что я слушаю, что я подслушиваю, подслушиваю со страстью, навострив уши. Я подтолкнул моего, быть может, несколько утомленного друга и сказал ему потихоньку: «Не спи! Мы можем тут кое-чему поучиться. Это подходит нам, хотя нас и не касается».

Дело в том, что я слышал, как младший спутник философа довольно взволнованно защищался, а философ напал на него, постепенно возвышая голос: «Ты не изменился, – восклицал он, – к сожалению, не изменился; просто не верится, до какой степени ты все тот же, каким был семь лет тому назад, когда я видел тебя в последний раз и простился с тобой с робкой надеждой. К сожалению, снова и без всякого удовольствия должен совлечь с тебя оболочку современной образованности, в которую ты тем временем успел облечься, – и что я нахожу под ней? Правда, все тот же неизменный «интеллигибельный» характер, как его понимает Кант, но, к сожалению, и все тот же не изменившийся интеллектуальный – что, вероятно, так же необходимо, но мало утешительно. Я спрашиваю себя, какой смысл имеет моя жизнь, как философа, если целые годы, проведенные тобой в общении со мной, не могли наложить проч-

ного отпечатка на твой далеко не тупой ум и несомненную жажду знания! Сейчас ты ведешь себя так, будто никогда не слышал кардинального суждения, относящегося ко всякому образованию, к которому я так часто возвращался в наших прежних беседах. Ну, как гласило это суждение?»

«Я его помню, – отвечал заслуживший выговор ученик. – Вы не раз говорили, что ни один человек не стремился бы к образованию, если бы знал, как невероятно мало в конечном счете число действительно образованных людей и как мало вообще их может быть. И все же и этого небольшого количества истинно образованных людей могло бы не быть, не стремись широкая масса – в сущности, против своей природы и побуждаемая лишь соблазнительным заблуждением, – так же к образованию. Поэтому не следует публично обнаруживать смешную непропорциональность между числом истинно образованных людей и грандиозным образовательным аппаратом, здесь кроется настоящий секрет образованности, состоящий в том, что бесчисленное множество людей, по-видимому, для себя, в сущности же, чтобы сделать возможным появление немногих, стремится к образованию и работает для него».

«Да, таково это положение, – сказал философ, – и все же ты мог настолько забыть его истинный смысл, чтобы считать себя самого одним из этих немногих? Ты так думал – я это хорошо вижу. Но это часть презренного клейма нашей образованной современности. Демократизируют права гения, чтобы облегчить свою собственную образовательную работу и нужду в образованности. Каждый хочет возможности расположиться в тени дерева, посаженного гением. Хотят освободиться от тяжелой необходимости работать для гения и сделать возможным его появление. Как? Ты слишком горд, чтобы согласиться быть учителем? Ты презираешь теснящую толпу учащихся? Говоришь с презрением о задаче учителя? Ты хотел бы, враждебно отгородившись от этой толпы, вести одинокую жизнь, подражая мне и моему образу жизни? Ты думаешь одним прыжком достигнуть того, чего мне удалось в конце концов добиться после долгой упорной борьбы за возможность вообще жить жизнью философа? И ты не боишься, что одиночество отомстит тебе? Попробуй только стать отшельником образо-

вания – надо обладать неистощимым богатством, чтобы из собственной полноты жить для всех! Странные ученики! Они считают нужным всегда подражать самому трудному и высокому из того, чего удалось достичь учителю. Тогда как должны были бы знать, как это тяжело и опасно и как много способных и одаренных может погибнуть таким образом!»

«Я не хочу от вас ничего скрывать, учитель, – сказал вслед за тем спутник, – я слишком много слышал от вас и слишком долго пользовался вашей близостью, чтобы быть способным всецело отдаться нашей теперешней системе образования и воспитания. Я ощущаю совершенно ясно те ужасные изъяны и недостатки, на которые вы указывали, и все же чувствую в себе мало силы для успехов в смелом бою. Мною овладело общее малодушие. Бегство в уединение не было высокомерием, надменностью. Я вам охотно расскажу, какое клеймо я обнаружил на столь оживленно и настоятельно обсуждаемых теперь вопросах образования и воспитания. Мне кажется, что следует различать два главнейших направления: два, по-видимому, противоположных, по влиянию одинаково пагубных и по результатам в конце концов совпадающих течения господствуют в настоящее время в наших образовательных учреждениях: во-первых, стремление к возможно большему *расширению* и *распространению* образования, а во-вторых стремление к его же *ограничению* и *ослаблению*. Образование следует по различным причинам перенести в самые широкие круги – этого требует одна тенденция. Другая же, напротив, предписывает образованию отказаться от своих наиболее благородных и возвышенных стремлений и ограничиться служением какой-либо иной жизненной форме, например государству.

Мне кажется, я подметил, с какой стороны явственнее всего раздается призыв к возможно большему расширению и распространению образования. Это распространение относится к числу излюбленных политико-экономических догматов настоящего. Как можно больше знания и образования, отсюда возможно большие размеры производства и потребления, а отсюда возможно большая сумма счастья – так приблизительно гласит формула. Здесь цель и результат образования – польза, вернее, нажива, возможно большая денежная прибыль. Образование определяется этим

направлением приблизительно как сумма знаний и умений, благодаря которой держатся «на уровне своего времени», знают все дороги к легчайшей добыче денег, владеют всеми средствами, способствующими общению между людьми и народами. Настоящей задачей образования была бы, сообразно с этим, выработка возможно более «годных к обращению» людей, вроде того как называют «годной к обращению» монету. Чем больше таких годных к обращению людей, тем счастливее народ; и задача современных образовательных учреждений должна заключаться в том, чтобы помочь каждому возможно более развить задатки своей способности стать «годным к обращению», дать каждому такое образование, чтобы он черпал из своей суммы знаний и умений возможно большую сумму счастья и выгоды. Каждый должен уметь правильно таксировать себя самого и знать, чего он вправе требовать от жизни. «Союз интеллигенции и собственности», санкционируемый этими взглядами, считается прямо-таки нравственным требованием. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели, лежащие за пределами денег и выгоды, и растрчивает много времени. От таких образовательных тенденций здесь принято отделяться как от «высшего эгоизма» или «безнравственного образовательного эпикурейства». Сообразно признаваемой здесь нравственности требуется нечто совершенно противоположное, а именно *скорое* образование, чтобы быстро превратиться в существо, зарабатывающее деньги, и все же *основательное* образование, чтобы стать существом, зарабатывающим их *очень много*. Человеку дозволяется вкусить лишь такое количество культуры, которое необходимо в интересах наживы, но столько же требуется и от него. Одним словом, человечеству свойственно претендовать на земное счастье, и по этому образованию необходимо. Но только лишь поэтому!»

«Здесь я хочу вставить несколько слов, – сказал философ. – При этом недвусмысленно охарактеризованном воззрении возникает большая, даже огромная опасность, состоящая в том, что широкая масса когда-нибудь перепрыгнет промежуточную ступень и напрямик пойдет к этому земному счастью. Это называется нынче «социальным вопросом». Ведь массе может показаться, что сообразно этому образова-

ние для большей части человечества – лишь средство к земному счастью меньшинства. «Максимальная всеобщность образования» настолько принижает образование, что оно не в состоянии более давать никаких привилегий, никакого престижа. Наивсеобщнейшее образование – это варварство. Но я не хочу прерывать твоих рассуждений».

Спутник продолжал: «Существуют еще другие мотивы столь энергичного стремления к расширению и распространению образования, помимо упомянутого излюбленного политико-экономического догмата. В некоторых странах страх перед религиозным гнетом так силен и боязнь последствий этого гнета так ярко выражена, что все классы общества со жгучей жаждой стремятся навстречу образованности и впитывают именно те элементы, которые подрывают религиозные инстинкты. С другой стороны, государство, сплошь да рядом, в интересах собственного существования, стремится к более широкому распространению образованности, потому что оно все еще сознает в себе достаточно силы, чтобы впрячь в свое ярмо даже самое эмансипированное образование и полагается на то, что широкое образование его чиновников или военных, в конечном счете именно ему – государству – и пойдет на пользу в соперничестве с другими державами. В этом случае фундамент государства должен быть настолько широк и прочен, чтобы удерживать в равновесии сложное здание образования, подобно тому как в первом случае следы бывшего религиозного гнета должны еще быть достаточно ощутимы, чтобы побуждать к такому отчаянному противодействию. Следовательно, в тех случаях, где самого широкого народного образования требует лишь боевой клич массы, там я обыкновенно различаю, стимулируется ли этот боевой клич ярко выраженной тенденцией к наживе и приобретению, или следами бывшего религиозного угнетения, или же разумным честолюбием государства.

В противовес этому, мне казалось, что, хотя не так громко, но по крайней мере так же настойчиво раздается с разных сторон другая песнь – песнь о *сокращении образования*. О том же обыкновенно шепчутся во всех ученых кругах; общий факт тот, что при теперешнем напряжении сил, которого требует от ученого его наука, *образование* ученого

становится все более случайным и кажущимся. Ибо теперь изучение наук так развилось в ширину, что если человек с хорошими, но не исключительными способностями захочет что-либо создать в них, то он должен заняться совершенно специальной отраслью и вследствие этого оставить нетронутыми все остальные. И если он в своей специальности стоит выше *vulgus*¹, то во всем остальном, т.е. в главном, он принадлежит к ней. Такой исключительный специалист-ученый становится похож на фабричного рабочего, который в продолжении всей жизни не делает ничего, кроме определенного винта или ручки к определенному инструменту либо машине, достигая, правда, в этом изумительной виртуозности. В Германии, где умеют прикрывать блестящей мантией мысли даже такие прискорбные факты, доходят до того, что восхищаются такой узкой специализацией наших ученых и считают положительным в нравственном смысле их растущее отдаление от истинного образования: «верность в малом», «верность ломовика» становится поводом для тщеславия, невежество относительно всего, что лежит за пределами специальности, выставляется напоказ как признак благородной скромности.

На протяжении тысячелетий под словом образованный подразумевался ученый и только ученый. Исходя из опыта нашего времени, мы едва ли чувствуем себя склонными к такому наивному отождествлению. Ибо теперь эксплуатация человека в интересах науки является предпосылкой, принимаемой всюду как нечто само собой разумеющееся. Но кто же спрашивает о ценности науки, которая, подобно вампиру, высасывает все соки своих созданий? Разделение труда в науке на практике направляется к той же цели, к которой то и дело сознательно стремятся религии: к уменьшению образования, даже к уничтожению его. Но то, что является вполне правомерным требованием со стороны некоторых религий, сообразно их возникновению и истории, может привести когда-нибудь к самосожжению науки. Сейчас мы уже дошли до того, что во всех общих вопросах серьезного характера, и прежде всего в верховных философских проблемах, человек науки как таковой является

¹ масса, толпа (*лат.*).

совершенно лишенным слова; и напротив, тот клейкий, связующий слой, который теперь отложился между науками – журналистика, – воображает, что призван выполнять здесь свою задачу и осуществляет ее сообразно своей сущности, т.е., как гласит само его имя, как поденщину¹.

В журналистике – сливаются вместе оба направления: расширение и ограничение образования протягивают здесь друг другу руки. Журнал становится на место образования, и тот, кто в том числе среди ученых претендует на образованность, обыкновенно опирается на этот клейкий передаточный слой, который замазывает швы между всеми жизненными формами, всеми сословиями, всеми искусствами, всеми науками и так же крепок и надежен, как только может быть газетная бумага. В журнале – кульминационный пункт своеобразных образовательных устремлений настоящего; и журналист, этот слуга минуты, занял место великого гения, вождя на все времена, избавителя от сиюминутного. Теперь же скажите мне сами, мой великий мастер, на что я должен был надеяться в борьбе с господствующим всюду искажением всех образовательных стремлений, откуда было взять смелости мне, отдельному учителю, когда я знаю, что над каждым свежесосеянным зерном истинной образованности тотчас же беспощадно пройдет дробящий вал этой мнимой образованности? Подумайте, как бесполезна должна быть теперь утомительная работа учителя, который бы, например, захотел ввести ученика в бесконечно отдаленный и трудно достижимый мир эллинизма, в это истинное отечество образованности? Ведь тот же самый ученик в следующий час возьмет газету или современный роман или одну из тех просвещенных книг, одна стилистика которых уже отмечена отвратительной печатью теперешнего образовательного варварства».

«Остановись же на минуту! – воскликнул философ громко, и в голосе его звучало сожаление. – Я теперь тебя лучше понимаю, и мне не следовало бы говорить тебе раньше таких жестоких слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение».

¹ Н. имеет в виду этимологию слова «журналистика» от «jour» – «день» (*фр.*).

Лекция II

Уважаемые слушатели! Те из вас, кого я только с этой минуты могу приветствовать в качестве своих слушателей и кто только понаслышке знаком с лекцией, читанной три недели тому назад, должны будут примириться с тем, что их без дальнейших предупреждений введут в середину серьезного разговора, который я в тот раз начал пересказывать. Сегодня я лишь напому оборот, под конец принятый этим разговором. Молодой спутник философа только что честно и откровенно извинился перед своим выдающимся учителем и объяснил, почему он малодушно отказался от своей прежней учительской должности и проводит дни в безотрадном одиночестве, которое он для себя избрал. Высокомерное самомнение меньше всего было причиной такого решения.

«Слишком многое, – сказал правдивый ученик, – слышал я от вас, мой учитель, слишком долго я был вблизи вас, чтобы правомерно отдался господствовавшей до сих пор системе образования и воспитания. Я слишком живо ощущаю те непоправимые заблуждения и недостатки, на которые вы так часто указывали; и все же я нахожу в себе чересчур мало силы, чтобы добиться успеха в мужественной борьбе и разрушить бастионы этой мнимой образованности. Общее уныние овладело мною; бегство в уединение не было высокомерием и надменностью». Вслед за этим ученик, в свое извинение, так охарактеризовал общие признаки этой образованности, что философ не выдержал и, перебив его, стал сочувственно успокаивать следующим образом: «Остановись же на минутку, мой бедный друг, – сказал он, – я теперь лучше понимаю тебя и мне не следовало бы говорить тебе раньше таких суровых слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение. Как долго, думаешь ты, просуществует еще в современной школе столь тяготящая тебя система образования? Не скрою от тебя своей уверенности на этот счет; ее время прошло,

ее дни сочтены. Первый, кто осмелится действовать совершенно честно в этой области, услышит, как его честности отзовутся тысячи смелых душ. Ибо в сущности, среди благородно одаренных и горячо чувствующих людей нашего времени существует молчаливое единомыслие: каждый из них знает, что ему пришлось претерпеть от образовательных условий школы, и хотел бы избавиться по крайней мере своих потомков от этого гнета, хотя бы даже ценою себя самого. Если же все-таки дело нигде не доходит до полной откровенности, то печальная причина этого лежит в педагогической скудности духа нашего времени. Именно здесь ощущается недостаток в истинно изобретательских способностях, в истинно практических людях, т.е. таких, которым приходят в голову хорошие и новые мысли и которые знают, что настоящая гениальность и настоящая практика должны необходимым образом встречаться в одном и том же индивидуе. Трезвым же практикам именно не хватает удачных мыслей, т.е. опять-таки настоящей практики. Если мы ознакомимся с педагогической литературой нашего времени и не испугаемся при этом беспредельного ее скудоумия и неуклюжего топтания на одном месте, то в нас уже нечего больше портить. Здесь наша философия должна начинаться не с удивления, а с испуга. Тому же, кто не испугается, следует убрать руки прочь от всего педагогического. Правда, до сих пор правилом было обратное: те, кто пугался, робко убегали прочь, подобно тебе, мой бедный друг, а широкие лапы трезвых и бесстрашных широко ложились на самую нежную технику, которая только может существовать в искусстве – технику образования. Но это не продолжится долго. Стоит только прийти честному человеку с хорошими и новыми идеями, для осуществления которых он не побоится порвать со всем существующим, стоит ему только раз показать грандиозный пример того, чего не сумеют повторить широкие лапы, которые одни и были деятельны до сих пор, как тотчас повсюду начнут по крайней мере понимать разницу, начнут чувствовать противоположность и задумываться над ее причинами, тогда как теперь еще многие в простоте душевной полагают, что широкие лапы – необходимая принадлежность педагогического ремесла!»

– Я бы хотел, уважаемый учитель, – перебил здесь спутник, – чтобы вы мне на отдельном примере сами пояснили ту надежду, которой так бодро дышат ваши слова! Мы оба знаем гимназию; полагаете ли вы, например, относительно и этого учреждения, что честность и хорошие новые мысли сумеют не оставить здесь и следа от старых, цепких привычек. Здесь, как мне кажется, все нападения осадных машин отражает не твердая стена, а роковая цепкость и скользкость всех принципов. Нападающему не приходится разбивать видимого и стойкого противника; этот противник замаскирован, он в состоянии принимать сотни образов, чтобы в одном из них ускользнуть от руки, готовой схватить его, и затем снова и снова трусливыми уступками и постоянным отскакиванием в сторону сбивать с толку нападающего. Именно гимназия вынудила меня к малодушному побегу в уединение, и я чувствую, что если здесь борьба поведет к победе, то и все другие образовательные учреждения должны будут уступить, и что тому, кому придется отчаяться здесь, придется отчаяться и в серьезных педагогических вопросах вообще. Итак, учитель, просветите меня в вопросе о гимназии. Можем ли мы питать надежды на уничтожение или возрождение гимназии?

– И я, – сказал философ, – придаю гимназии такое же высокое значение, как и ты. Образовательной целью, которую себе ставит гимназия, должны измеряться все остальные учреждения; они страдают от заблуждений *ее* тенденции, а через очищение и обновление гимназии очистятся и обновятся так же и они. Такую роль движущего центра не может брать на себя даже университет, который при его теперешнем строе, по крайней мере, с *одной* важной стороны может считаться лишь дальнейшим развитием гимназической тенденции, что я впоследствии разъясню тебе. Сейчас же рассмотрим вместе, что именно порождает во мне надежду на высказанную мною альтернативу, в силу которой культивированный до сих пор пестрый и трудно уловимый дух гимназии целиком рассеется в воздухе или же будет в корне очищен и обновлен. Чтобы не пугать тебя общими положениями, я напомню тебе сперва один из тех фактов гимназической жизни, которые мы все знаем по опыту и от которых мы все страдаем. Что представляет из

себя теперь, строго говоря, преподавание немецкого языка в гимназиях?

Сначала я скажу тебе, чем бы ему следовало быть. От природы теперь каждый человек пишет и говорит таким дурным и вульгарным немецким языком, какой только возможен в эпоху газетного немецкого. Поэтому подрастающий юноша, из числа более тонко одаренных, должен быть насильственно помещен под стеклянный колпак хорошего вкуса и строгой филологической дисциплины. Если это невозможно, то я предпочту в будущем опять говорить по-латыни, так как стыжусь такого испорченного и оскверненного языка.

Разве задача высшего учебного заведения в этом пункте не состоит в том, чтобы авторитетно, достойно и строго направить на истинный путь вербально одичавших юношей и крикнуть им: «Отнеситесь серьезно к вашему языку! Тот, у кого в этой связи по-настоящему не просыпается чувство священной обязанности, не имеет ни малейшего задатка для высшего образования. Здесь-то и обнаружится, как высоко или низко вы цените искусство и насколько вы ему близки, здесь – в вашем обращении с родным языком. Если вы не достигнете того, чтобы ощущать физическое отвращение к известным словам и оборотам нашего журналистского обихода, то откажитесь от стремления к образованию. Ибо здесь в непосредственной близости, в каждом мгновении вашего разговора и письма у вас имеется пробный камень того, как трудна, как громадна теперь задача образованного человека и как мало вероятности в том, что многие из вас достигнут истинного образования».

Обращениями такого рода учитель немецкого языка в гимназии должен был бы привлекать внимание своих учеников к тысячам нюансов и со всей уверенностью хорошего вкуса прямо запрещать им употребление таких слов, как, например, «запрашивать», «взять», «учитывать моменты», «брать инициативу», «само собой разумеется» и так далее *cum taedio in infinitum*¹. Показывать на каждой строчке наших классических авторов, как тщательно и строго взвешивает каждый оборот тот, кто носит в сердце подлинное

¹ с отвращением до бесконечности (лат).

художественное чутье и обладает полным пониманием всего того, что пишет. Такой учитель будет постоянно заставлять своих учеников снова и лучше выражать ту же мысль и не оставит своих усилий до тех пор, пока менее одаренными не овладеет священный ужас перед языком, а более одаренными – благородное одушевление им.

Итак, здесь перед нами одна из наиболее важных задач для так называемого формального образования: а что же мы находим в гимназии, на месте так называемого формального образования? Тот, кто умеет подвести под правильные рубрики то, что он здесь видит, знает, какого мнения ему следует быть о современной гимназии как о якобы образовательном учреждении. Он найдет, что гимназия в своем первоначальном виде воспитывает не образованных, а лишь ученых, а в последнее время ее деятельность принимает такое направление, как будто бы она хотела воспитывать уже не ученых, а журналистов. Это может быть показано на способе преподавания немецкого языка как достаточно ярком примере.

Вместо чисто практического обучения, путем которого учитель должен был бы приучить своих учеников к строгой языковой самодисциплине, мы находим всюду попытки учено-исторической трактовки родного языка; то есть с ним обращаются так, как если бы он был мертвым языком и как будто бы не существовало обязательств перед его настоящим и будущим. Историческая манера стала до такой степени присущей нашему времени, что даже живое тело языка приносится в жертву анатомическим студиям. Между тем образование начинается именно с умения обращаться с живым, как с живым, и начало задачи учителя, желающего дать образование, в том, чтобы оттеснить всюду напирающий исторический интерес в тех случаях, где прежде всего следует научить правильно действовать, а не познавать. Наш родной язык и есть та область, на которой ученик должен научиться правильно действовать; и лишь сообразно этой практической стороне необходимо преподавание немецкого языка в наших учебных заведениях. Правда, кажется, что исторический метод значительно легче и удобнее для учителя; точно так же кажется, что он соответствует его более скромным дарованиям и вообще невысокому по-

лету всех его желаний и стремлений. Но то же самое наблюдение нам придется сделать во всех областях педагогической действительности. Наиболее легкое и удобное драпируется в плащ напыщенных претензий и гордых титулов; собственно же практическая деятельность, имеющая отношение к образованию, будучи по сути более трудной, вызывает недоброжелательные и презрительные взгляды. Поэтому честный человек должен выяснить для себя и других и это *quidproquo*¹.

Но что же, помимо побуждений чисто ученого характера к изучению языка, дает обыкновенно учитель немецкого? Как связывает он дух своего учебного заведения с духом тех *немногих* истинно образованных людей, которыми обладает немецкий народ, с духом его классических поэтов и художников? Вот темная и прискорбная сфера, которую нельзя осветить без страха. Но и здесь мы не должны ничего утаивать, ибо однажды и здесь суждено всему обновиться. В гимназии отвратительное клеймо нашего эстетического журнализма запечатлевается в несформировавшихся умах молодежи; здесь самим учителем сеются семена грубого, намеренного непонимания великих классиков, которое впоследствии выдает себя за эстетическую критику, а на деле является лишь беззастенчивым варварством. Здесь ученики приучаются в тоне мальчишеского превосходства отзываться о нашем единственном *Шиллере*, здесь их учат с насмешкой смотреть на самые благородные чисто немецкие характеры из его произведений, каковы маркиз Поза, Макс и Текла, – с насмешкой, которая наполняет гневом немецкий гений и за которую будет стыдно будущим лучшим поколениям.

Последняя сфера деятельности учителя немецкого языка в гимназии, которую нередко считают вершиной его деятельности, более того, вершиной всего гимназического образования, – это так называемое *немецкое сочинение*. По тому признаку, что в этой области почти всегда с особой охотой подвизаются наиболее способные ученики, можно убедиться, как опасна и увлекательна поставленная именно здесь задача. Немецкое сочинение – призыв к индивиду; и чем сильнее сознает ученик свои отличительные качества,

¹ то [принимаемое] за это, путаница (*лат.*).

тем более индивидуальный характер придаст он своему немецкому сочинению. Этот индивидуальный характер, кроме того, в большинстве гимназий требуется уже самим выбором темы, нагляднейшим доказательством чему для меня является то, что уже в более младших классах задаются сами по себе непедagogичные темы, побуждающие учеников к описанию своей собственной жизни, своего развития. Достаточно просмотреть списки таких тем, задаваемых в большинстве гимназий, чтобы прийти к убеждению, что, вероятно, большинству учеников суждено всю жизнь невинно страдать от этой слишком рано взваленной на них работы личности, от этого незрелого процесса созидания мыслей; и как часто вся последующая литературная деятельность человека выглядит печальным следствием этого педагогического прегрешения против духа!

Подумать только, что происходит в столь юном возрасте при написании такой работы. Это первое собственное произведение; еще неразвившиеся силы в первый раз напрягаются для кристаллизации; головокружительное чувство вынужденной самостоятельности придает этим продуктам творчества первое, невозвратное, пьянящее очарование. Все дерзновение природы вызвано из ее глубин, все тщеславие, не сдерживаемое более прочными преградами, впервые вправе принять литературную форму. С этой минуты молодой человек чувствует себя готовым; он чувствует себя существом, имеющим право высказываться, подавать голос, и даже побуждаемым к этому. Гимназические темы обязывают его высказывать свое суждение о поэтических произведениях или характеризовать исторические личности, самостоятельно излагать серьезные этические проблемы или, развернув фонарь в обратную сторону, осветить свое собственное бытие и дать критический отчет относительно себя самого. Короче, целый мир труднейших задач развертывается перед застигнутым врасплох, до тех пор еще почти несознательным юношей и предоставляется его решению.

Представим же себе рядом с этими, способными на столь многое повлиять, первыми оригинальными работами обыденную деятельность учителя. Что в этих работах кажется ему заслуживающим порицания? На что обращает

он внимание учеников? На все эксцессы формы и мысли, т.е. на все, что в данном возрасте вообще характерно и индивидуально. Тот действительно самостоятельный элемент, который при этом преждевременном возбуждении может проявиться только в неловкостях, резкостях и комических чертах, т.е. именно индивид подвергается порицанию и забраковывается учителем в пользу шаблонной пристойной серости. И напротив, на долю безличной посредственности выпадают унылые похвалы; ибо понятно, что как раз она-то и надоела учителю до крайности.

Быть может, найдутся еще люди, которые увидят во всей этой комедии немецкого сочинения не только самый нелепый, но и самый опасный элемент современной гимназии. Ведь здесь требуется оригинальность, и тотчас же отбрасывается та, которая единственно возможна в этом возрасте. Здесь предполагается формальное образование, которого теперь вообще достигают лишь немногие люди в зрелых годах. Здесь каждый без дальнейших околичностей рассматривается как способное к литературной деятельности существо, которое *вправе* иметь собственные мнения о самых серьезных вещах и личностях, тогда как правильное воспитание будет со всем рвением стремиться лишь к тому, чтобы подавить смешную претензию на самостоятельность суждения и приучить молодого человека к строгому повиновению скипетру гения. Здесь предполагаются широкие рамки изложения в том возрасте, когда каждое высказанное и написанное суждение – варварство. Прибавим же сюда и опасность, лежащую в легкой возбудимости самомнения в эти годы, подумаем о тщеславном ощущении, с которым юноша в первый раз любит себя в зеркале своим литературным отражением! Если охватить все это *одним* взглядом, то никто не усомнится в том, что все беды нашей литературно-художественной общественности постоянно снова и снова накладывают свое клеймо на подрастающее поколение. Эти недуги – торопливое и тщеславное творчество, постыдная фабрикация книг, полное отсутствие стиля, неперебродивший, безличный или жалкий в своей напыщенности слог, утрата всякого эстетического канона, сладострастие анархии и хаоса – короче, литературные черты как нашей журналистики, так и нашей учености.

Лишь очень немногие теперь сознают, что, быть может, из многих тысяч едва лишь один имеет право высказываться в качестве писателя, а все остальные, пытающиеся делать это на свой страх и риск, заслуживают в награду за каждую свою печатную строчку лишь гомерический хохот со стороны действительно способных к суждению людей. Ибо можно ли назвать зрелищем, достойным богов, хромого литературного Гефеста, желающего нас чем-то угостить? Воспитать в этой области серьезные и непреклонные привычки и воззрения – такова одна из верховных задач формального образования, тогда как всестороннее, безудержное развитие так называемой свободной личности следует считать лишь признаком варварства. Из всего до сих пор сказанного выяснилось, что, по крайней мере, при преподавании немецкого языка думают не об образовании, а о чем-то другом, именно об упомянутой свободной личности. И до тех пор, пока немецкие гимназии в заботах о «сочинении» будут играть на руку отвратительному и бессовестному борзописанию, до тех пор, пока они не сочтут своей священной обязанностью ближайшую, практическую выучку в области слова и письма, до тех пор, пока они будут обращаться с родным языком так, как если бы он был необходимым злом или мертвым телом, – до тех пор я не причислю эти заведения к подлинно образовательным учреждениям.

Менее всего в вопросе о языке заметно влияние *классического прообраза*. Уже из одного этого соображения так называемое классическое образование, которое должно исходить из наших гимназий, кажется мне весьма сомнительным и основанным на недоразумении. Ибо как можно было при взгляде на классический прообраз не заметить ту необычайную серьезность, с которой греки и римляне с самых юношеских лет относились к своему языку? Как можно было бы не признать своего прообраза в этом пункте, если бы классический эллинский и римский мир действительно служил верховным поучительным образцом воспитательного плана наших гимназий, в чем я очень сомневаюсь? Наоборот, кажется, что претензия гимназии на пестование классического образования – лишь неловкая отговорка, которая выставляется тогда, когда с какой-либо стороны за гимназией отрицается способность воспитывать для образован-

ности. Классическое образование! Это звучит так значительно! Это устыжает нападающего, замедляет нападение – ибо кто может заглянуть сразу до самого дна этой вводящей в заблуждение формулы! А такова давно привычная тактика гимназии: смотря по тому, откуда раздается призыв к битве, она пишет на своем далеко не украшенном знаками отличия щите один из этих дезориентирующих девизов: «классическое образование», «формальное образование» или «научное образование» – три достославные вещи, которые к сожалению, противоречат отчасти самим себе, отчасти друг другу и, если насильно свести их воедино, создадут лишь образовательного трагелафа. Ибо истинное «классическое образование» есть нечто неслыханно трудное и редкое и требует столь сложных способностей, что только наивность и бесстыдство могут видеть в нем достижимую цель гимназии. Термин «формальное образование» относится к грубой, нефилософской фразеологии, которой следует по возможности избегать, ибо не существует никакого «материального образования»! А вот кто выставляет целью гимназии «научное образование», тем самым отказывается от «классического образования» и от так называемого формального образования, вообще от всей образовательной цели гимназий, так как человек науки и образованный человек принадлежит к двум различным сферам, которые время от времени соприкасаются в *одном* индивиде, но никогда не совпадают друг с другом.

Если мы сравним эти три мнимые цели гимназии с наблюдаемой нами действительностью преподавания немецкого языка, <то узнаем,> чем большей частью являются эти цели в обыденной практике: выходами из затруднительного положения, придуманными для борьбы и войны и часто действительно довольно пригодными для одурачивания противника. Ибо мы не нашли в преподавании немецкого языка ничего, что каким-либо образом напоминало бы классический античный прообраз, античную грандиозность воспитания языка. А формальное образование, достигаемое упомянутым преподаванием немецкого, оказалось безграничным потаканием «свободной личности», т.е. варварством и анархией. Что же касается научного образования как следствия этого преподавания, то нашим германистам

предоставляется решить, сколь мало содействовали расцвету их науки именно эти наукообразные гимназические начатки, и сколь много – личность отдельных университетских преподавателей. В итоге, гимназии до сих пор не хватает наипервейшего и ближайшего объекта, с которого начинается истинное образование, – родного языка; в силу этого она лишена естественной плодотворной почвы для всех дальнейших образовательных усилий. Ибо только на почве строгой, художественно тщательной выучки и привычки укрепляется правильное чувство понимания величия наших классиков, признание которых со стороны гимназии до сих пор покоилось лишь на сомнительном, эстетизирующем пристрастии отдельных учителей или же исключительно на воздействии фабул определенных трагедий и романов. Но надо по собственному опыту узнать, как трудно овладеть языком, надо после долгих поисков и борьбы пробиться на дорогу, по которой шли наши великие поэты, чтобы почувствовать, как легко и красиво шагали они по ней и как неуклюже или напыщенно двигаются за ними другие.

Лишь благодаря такой дисциплине в молодом человеке начнет вызывать отвращение столь излюбленная и прославленная «элегантность» стиля наших газетных пролетариев и кропателей романов и «изысканный слог» наших литераторов, и он одним ударом разрешит целый ряд весьма комичных вопросов и недоразумений, вроде того, писатели ли Ауэрбах и Гуцков? Их просто станет невозможным читать без отвращения, и тем вопрос будет исчерпан. Пусть не думают, что легко развить свое чувство до такого физического отвращения, но пусть никто не надеется прийти к эстетической критике иным путем, кроме тернистой тропы языка, и притом не с помощью языковых изысканий, а лишь с помощью языкового самовоспитания.

Здесь каждый всерьез трудящийся почувствует себя в положении взрослого человека, который, например, поступив в солдаты, вынужден учиться ходить, тогда как он прежде был в этом отношении простым дилетантом и эмпириком. Это месяцы тяжкого труда; опасаясь, как бы не лопнули жилы, пропадает всякая надежда на то, что искусственно и сознательно заученные движения ног когда-либо будут производиться свободно и легко; со страхом замеча-

ешь, как неумело и грубо передвигаешь ноги, и боишься, что разучился всякой ходьбе и никогда уже не научишься настоящей. И вдруг замечаешь, что искусственно заученные движения превратились в новую привычку и вторую натуру, и прежняя уверенность и сила шага возвращается укрепленной и даже сопровождается известной грацией. Теперь только знаешь, как трудно ходить, и смело можешь насмеяться над грубым эмпириком или над показной элегантностью дилетанта в ходьбе. Наши писатели, именуемые «элегантными», никогда, как свидетельствует их стиль, не учились ходить; и в наших гимназиях, как доказывают наши писатели, не учатся ходить. Но умение ходить в области языка есть начало образования, которое, если только за него толком приняться, породит по отношению и к этим «элегантным» писателям физическое ощущение, называемое отвращением.

В этом познаются роковые последствия нашего теперешнего гимназического строя; и тем, что гимназия не в состоянии насадить истинное и строгое образование, которое прежде всего повиновение и навык, тем, что она в лучшем случае ставит себе целью лишь возбуждение и оплодотворение научных стремлений, объясняется столь часто встречающийся союз учености с варварством вкуса, науки с журналистикой. В нынешнее время можно сделать то широкое и общее наблюдение, что наши ученые упали и спустились с той высоты образования, которого достиг немецкий дух благодаря стараниям Гёте, Шиллера, Лессинга и Винкельмана. Это падение обнаруживается в том грубом непонимании, которое достается на долю этих людей как со стороны историков литературы (зовутся ли они Гервинусом или Юлианом Шмидтом), так и в каждом обществе, почти в каждом разговоре между мужчинами и женщинами. Это падение сказывается сильнее и болезненнее всего именно в педагогической литературе, относящейся к гимназии. Можно засвидетельствовать, что исключительное значение этих людей для истинного образовательного учреждения, – значение их как первых проводников и мистагогов классического образования, при помощи которых только и может быть найден правильный путь, ведущий к древности, – на протяжении более полувека не то что не признавалось, но даже не высказывалось. Всякое так называе-

мое классическое образование имеет лишь *одну* здоровую и естественную исходную точку – художественно серьезный и строгий навык в обращении с родным языком; но до этого, как и до тайны формы, редко кто правильно доходит изнутри, собственными силами, большинство нуждается в великих вождях и учителях и должно довериться их руководству. Но не существует классического образования, которое могло бы вырасти без развившегося чувства формы. Здесь, при постепенном пробуждении чувства различения между формой и варварством, первый раз расправляются крылья, которые уносят к истинному и единственному отечеству образования – к греческой древности. Правда, при такой попытке приблизиться к бесконечно далекой и обнесенной алмазными стенами твердыне эллинизма мы недалеко улетим с помощью одних лишь этих крыльев; нам снова нужны те же наставники, наши немецкие классики, которые подхватят нас на крыльях своих античных стремлений и унесут в страну наших желаний – в Грецию.

За старозаветные стены гимназии не проникло ни одного звука об этой единственно возможной связи между нашими классиками и классическим образованием. Напротив, филологи неутомимо стараются собственными силами преподнести молодым душам своих Гомеров и Софоклов и без дальнейших сомнений и оговорок называют результат классическим образованием. Пусть каждый, исходя из собственного опыта, вспомнит, что он получил от Гомера и Софокла под руководством таких ретивых наставников. Это сфера наиболее частых и грубых ошибок и ненамеренно распространяемых недоразумений. Я еще никогда не находил в немецкой гимназии ни малейшего следа того, что поистине можно было бы назвать «классическим образованием». И это не удивительно, если вспомнить, как гимназия эмансипировалась от немецких классиков и немецкой дисциплины слога. Прыжком в пустоту нельзя достичь древности, а весь практикующийся в школах способ обращения с древними писателями, добросовестное комментирование и парафразировка наших учителей-филологов – не что иное, как такой прыжок в пустоту.

Чутье классически-эллинического является столь редким результатом самой упорной образовательной борьбы и ху-

дожественного таланта, что лишь благодаря грубому недоразумению гимназия осмеливается претендовать на роль пробудителя этого чувства. И в каком возрасте? В возрасте, который еще слепо поддается самым пестрым тенденциям дня, который еще не имеет ни малейшего представления о том, что это чутье эллинского, *если* только его однажды пробудить, сейчас же становится агрессивным и должно выразиться в непрерывной борьбе со всей мнимой культурой настоящего. Для современного гимназиста эллины, как таковые, мертвы; да, ему нравится Гомер, но все же роман Шпильгагена захватывает его гораздо сильнее; да, он с известным удовольствием поглощает греческие трагедии и комедии, но все же настоящая современная драма, вроде «Журналистов» Фрейтага, затрагивает его совершенно иначе. Глядя на античных авторов, его подмывает задать примерно такие же вопросы, какие однажды в вычурной статье о Венере Милосской поставил перед собой художественный критик Герман Grimm: «Что мне образ этой богини? На что мне мысли, которые она возбуждает во мне? Орест и Эдип, Ифигения и Антигона, что говорят они моему сердцу?» Нет, милые гимназисты, вам нет дела до Венеры Милосской: но так же мало до нее дела и вашим учителям, – и в этом несчастье, в этом тайна современной гимназии. Кто поведет вас в отчизну образования, если ваши руководители слепы и, сверх того, выдают себя за зрячих! Кто из вас достигнет истинного понимания священной важности искусства, когда вас избалуют методом, приучающим вас самостоятельно заикаться, вместо того чтобы научить вас говорить, самостоятельно эстетизировать, вместо того чтобы благоговейно подходить к художественному произведению, самостоятельно философствовать, вместо того чтобы приучать вас *слушать* великих мыслителей. И все это имеет лишь тот результат, что вы останетесь навеки чуждыми древности и станете слугами настоящего дня.

Самое благотворное, что скрывает в себе современная гимназия, заключается, главным образом, в серьезности, с которой она на протяжении целого ряда лет занимается латинским и греческим языками. Здесь еще научаются уважению к языку со строгими правилами, к грамматике и словарю, здесь еще знают, что такое ошибка, и не испытывают

каждую минуту затруднений от претензий, заявляемых грамматическими и орфографическими капризами и причудами, подобных тому, какие встречаются в немецком слоге современности. Если бы только это уважение к языку не оставалось висящим в воздухе и не рассматривалось как теоретическое бремя, которое снова тотчас же сбрасывают, когда имеют дело со своим родным языком! Обычно сам учитель греческого или латыни мало церемонится с этим родным языком: он с самого начала рассматривает его как область, где можно отдохнуть от строгой дисциплины латыни и греческого, где опять позволительна беспечная распушенность, с которой немец привык относиться ко всему родному. Перевод с одного языка на другой, это прекрасное упражнение, самым целительным и плодотворным образом действующее на развитие художественного понимания собственного языка, никогда не выполняется с надлежащей категорической строгостью и достоинством в отношении к немецкому языку, что как раз здесь, где мы имеем дело с недисциплинированным языком, необходимо прежде всего. Впрочем, в последнее время и эти упражнения все более исчезают: довольствуются знанием чужих классических языков и пренебрегают умением владеть ими.

Здесь снова пробивается ученая тенденция в понимании задач гимназии – явление, которое бросает свет на гуманитарное образование, всерьез считавшееся прежде целью гимназии. В эпоху наших великих поэтов, т.е. немногих действительно образованных немцев, выдающийся Фридрих-Август *Вольф* приобщил и гимназию к новому классическому духу, идущему из Греции и Рима через посредство тех мужей. Его смелому почину удалось создать новую картину гимназии, которая отныне должна была стать не только рассадником науки, но прежде всего настоящим святилищем всякого высшего и более благородного образования.

Из мер, внешне кажущихся необходимыми для этого, некоторые весьма существенные с продолжительным успехом применялись и при современном строе гимназии; не удалось же только как раз самое важное – освятить самих учителей этим новым духом, – так что со временем цель гимназии снова значительно удалась от того гуманитарного образования, к которому стремился *Вольф*. Напротив,

старая, самим Вольфом преодоленная абсолютная оценка учености и ученого образования, снова после слабой борьбы заняла место проникшего было нового образовательного принципа и отстаивает теперь, хотя и не с прежней откровенностью, а с закрытым маской лицом, свое исключительное право. И неудача попытки ввести гимназию в широкое русло классической образованности заключалась в не-немецком, почти чужеземном или космополитическом характере этих образовательных усилий, в уверенности, что возможно из-под ног вырвать родную почву и все же прочно стоять на ногах, в иллюзорном убеждении, будто мы в состоянии прямо, безо всякого моста, перепрыгнуть в отдаленный эллинский мир путем отрицания немецкого и вообще национального духа.

Правда, нужно уметь сперва разыскать этот немецкий дух в его потайных убежищах, под модными облачениями или под обломками; надо его любить так, чтобы не стыдиться его искалеченного вида; следует прежде всего остерегаться и не смешивать его с тем, что теперь гордо именуют «немецкой культурой современности». Последней этот дух скорее внутренне враждебен; и как раз в сферах, на недостаточность культуры которых эта «современность» обыкновенно жалуется, часто сохраняется, хотя и в лишенной прелести форме под грубой внешностью, именно этот настоящий немецкий дух. То же, что теперь с особым самомнением называет себя немецкой культурой, представляет собой космополитический агрегат, относящийся к немецкому духу, как журналист к Шиллеру, как Мейербер к Бетховену. Здесь оказывает сильнейшее влияние негерманская в глубочайшей основе цивилизация французов, которой подражают бездарно, порой безвкусно, и в этом подражании придают фальшивое обличье немецкому обществу, прессе, искусству и стилистике. Правда, эта копия никогда не окажет такого завершеного художественного воздействия, какое оказывает вплоть до наших дней оригинальная, выросшая из сущности романского духа французская цивилизация. Чтобы ощутить это противоречие, сравним наших известнейших немецких романистов с любым, даже менее известным французским или итальянским писателем: с обеих сторон те же самые сомнительные тенденции и цели,

те же самые еще более сомнительные средства; но там они соединены с художественной серьезностью, по крайней мере с корректностью слога, часто красивы и являются всегда отзвуком соответствующей общественной культуры, здесь же все не оригинально, расплывчато, халатно по мысли и выражению или неприятно расфуфырено, кроме того, совершенно лишено фона действительной общественной жизни, – так что лишь в лучшем случае ученые манеры и познания напоминают о том, что в Германии журналистом становится неудавшийся ученый, а в романских странах – художественно образованный человек. С этой якобы немецкой, в сущности же неоригинальной культурой немец нигде не может рассчитывать на победу; с ней он терпит посрамление со стороны француза и итальянца, а что касается ловкого подражания чуждой культуре – прежде всего со стороны русского.

Тем крепче следует держаться немецкого духа, который открыл себя в немецкой реформации и немецкой музыке и доказал свою прочную, далеко не призрачную силу в неслыханной отважности и строгости немецкой философии и в недавно испытанной верности немецкого солдата. Именно от *этого* духа мы и должны ожидать победы над модной псевдокультурой «современности». Вовлечь в эту борьбу настоящую образовательную школу и вдохновить, особенно в гимназии, подрастающее новое поколение на все истинно немецкое – вот та будущая деятельность школы, на которую мы возлагаем свои надежды. В этой школе, наконец, и так называемое классическое образование обретет свою естественную почву и свою единственную исходную точку. Истинное обновление и очищение гимназии вытечет только из глубокого и мощного обновления и очищения немецкого духа. Тайнственна и трудно уловима связь, которая существует между глубинной немецкой сущностью и греческим гением. Но прежде, чем благороднейшая потребность чисто немецкого духа не схватится за руку этого греческого гения, как за твердую опору среди потоков варварства, пока в немецком духе не пробудится всепоглощающее стремление к греческому миру, пока с трудом достижимая даль греческой отчизны, которая услаждала Гёте и Шиллера, не сделается местом паломничества луч-

ших и одареннейших людей, до тех пор классическая образовательная цель гимназии будет, как флюгер, указывать во все стороны по воле ветров. И нельзя будет по крайней мере порицать тех, кто желает насадить в гимназии хотя бы ограниченную научность и ученость, чтобы все же иметь перед глазами действительную, прочную, так или иначе идеальную цель и спасти своих учеников от соблазнов того ложного призрака, который теперь позволяет называть себя «культурой» и «образованием». Таково печальное положение теперешней гимназии. Самые ограниченные точки зрения до известной степени сохраняют свою правоту, ибо никто не в состоянии достичь или по крайней мере обозначить место, где все эти точки зрения становились бы неправы».

– Никто? – спросил ученик философа с некоторым волнением в голосе, и оба умолкли.

Лекция III

Милостивые государи! Разговор, который мне некогда пришлось услышать и основные черты которого я по памяти старался воспроизвести перед вами, был прерван долгой паузой в том пункте, которым я последний раз закончил свой пересказ. Философ и его спутник сидели погруженные в грустное молчание. На душе у обоих тяжелым бременем лежало странное, только что служившее предметом их разговора неблагополучие важнейшего образовательного учреждения – гимназии, – неблагополучие, для устранения которого благомыслящий индивид оказывается слишком слабым, а масса – недостаточно мыслящей.

Два обстоятельства особенно удручали наших одиноких мыслителей: во-первых, они ясно сознавали, что то, что с полным правом можно было бы назвать «классическим образованием» – это в настоящее время лишь витающий в воздухе идеал образования, совершенно не способный вырасти на почве нашей воспитательной системы, и, напротив, то, что теперь обозначают общепринятым и неоспариваемым эвфемизмом «классическое образование» – не более чем претенциозная иллюзия, вся ценность которой в том, что благодаря ей само выражение «классическое образование» еще продолжает жить и по-прежнему звучит патетически. На примере преподавания немецкого языка эти честные люди выяснили между собой, что до сих пор не найдено правильная исходная точка для высшего образования, воздвигнутого на столпах древности. Одичалость же приемов преподавания языков, вторжение ученых исторических направлений на место практической выучки и приобретения навыка, смычка некоторых требующихся в гимназиях упражнений с сомнительным духом нашей журналистской общественности – все эти явления, наблюдаемые в преподавании немецкого языка, вызывают печальную уверенность, что благотворнейшее влияние классической древности совершенно не известно нашей гимназии, – то

величие классицизма, которое подготавливает к борьбе с варварством современности и которое, быть может, со временем еще превратит гимназию в арсеналы и мастерские этой борьбы.

Между тем сейчас совершается обратное: кажется, будто уже дух древности усердно отгоняется от самого порога гимназии и будто здесь хотят как можно шире отворить двери нашей избалованной лестью, мнимой современной «немецкой культуре». И если для наших одиноких собеседников еще существовала надежда, то заключалась она в ожидании еще худших времен, когда то, что до сих пор угадывалось лишь немногими, станет до очевидности ясно многим и когда в серьезной области народного воспитания уже будет недалеко пора честных и решительных людей.

Тем крепче, – сказал философ, – следует держаться немецкого духа, который открыл себя в немецкой реформации и немецкой музыке и доказал свою прочную, далеко не призрачную силу в неслыханной отважности и строгости немецкой философии и в недавно испытанной верности немецкого солдата. Именно от *этого* духа мы и должны ожидать победы над модной псевдокультурой «современности». Вовлечь в эту борьбу настоящую образовательную школу и вдохновить, особенно в гимназии, подрастающее новое поколение на все истинно немецкое – вот та будущая деятельность школы, на которую мы возлагаем свои надежды. В этой школе, наконец, и так называемое классическое образование обретет свою естественную почву и свою единственную исходную точку. Истинное обновление и очищение гимназии вытечет только из глубокого и мощного обновления и очищения немецкого духа. Таинственна и трудно уловима связь, которая существует между глубинной немецкой сущностью и греческим гением. Но прежде, чем благороднейшая потребность чисто немецкого духа не схватится за руку этого греческого гения, как за твердую опору среди потоков варварства, пока в немецком духе не пробудится всепоглощающее стремление к греческому миру, пока с трудом достижимая даль греческой отчизны, которая услаждала Гёте и Шиллера, не делается местом паломничества лучших и одареннейших людей, до тех пор классическая образовательная цель гимназии будет, как флюгер, указы-

вать во все стороны по воле ветров. И нельзя будет по крайней мере порицать тех, кто желает насадить в гимназии хотя бы ограниченную научность и ученость, чтобы все же иметь перед глазами действительную, прочную, так или иначе идеальную цель и спасти своих учеников от соблазнов того лживого призрака, который теперь позволяет называть себя «культурой» и «образованием».

После нескольких минут молчаливого раздумья спутник обратился к философу и сказал: «Вы желали пробудить во мне надежды, учитель, но вы укрепили мое понимание и тем самым мою силу и мое мужество. Теперь я действительно смотрю смелее на поле сражения и даже почти осуждаю свое преждевременное бегство. Мы ведь ничего не желаем для самих себя, и нас не должно печалить, если многие погибнут в этой борьбе и мы сами падем в числе первых. Именно потому что мы смотрим серьезно на дело, мы не будем серьезно относиться к каждой из наших личностей. В тот момент, когда мы падем, несомненно найдется кто-нибудь другой, подхвативший знамя, в символику которого мы веруем. Я не хочу задумываться даже над тем, достаточно ли у меня силы для такой борьбы и как долго я буду в состоянии сопротивляться. И разве не почетная смерть – пасть под насмешливый хохот таких врагов, серьезность которых так часто казалась нам смешной? Когда я подумаю о том, как мои сверстники готовились к одинаковому со мной призванию, к высокому призванию учителя, то я вижу, что часто мы смеялись над противоположным и становились серьезными перед совсем иным –».

«Мой друг, – прервал его со смехом философ, – ты говоришь как человек, который хочет прыгнуть в воду, не умея плавать, и боится не столько пойти ко дну, сколько именно *не* утонуть и быть высмеянным. Но меньше всего мы должны бояться осмеяния; ибо перед нами область, где еще много невысказанных истин, так много пугающих, горьких, непростительных истин, что не может быть недостатка в самой искренней ненависти к нам, и лишь ярость порой будет скрываться под неловкой улыбкой. Представь себе только необозримые толпы учителей, которые с наивной уверенностью освоили существующую до сих пор воспитательную систему, чтобы простосердечно и без лишних

мудрствований насаждать ее дальше. Как, думаешь ты, почувствуют они себя, когда услышат о планах, из которых они исключены и притом *beneficio natura*¹; о требованиях, которые залетают далеко за пределы их средней одаренности; о надеждах, которые остаются без отклика в них; о сражениях, боевой клич которых им непонятен и в которых они играют только роль глухо сопротивляющейся инертной массы? А таково будет, без преувеличения, неизбежное положение большинства учителей в средних учебных заведениях. Впрочем, тот, кто взвесит, как в большинстве случаев создается такой тип учителя, каким образом он *становится* преподавателем среднего образования, тот даже и не удивится такому положению. Теперь почти всюду существует такое преувеличенное количество средних учебных заведений, что для них постоянно требуется гораздо больше учителей, чем в состоянии породить природа даже богато одаренного народа. Таким образом, в эти заведения попадает чересчур много непризванных, которые постепенно, благодаря численному перевесу и инстинкту *similis simili gaudet*², определяют дух этих заведений. Да будут безнадежно далеки от педагогических вопросов все те, кто полагает, будто возможно при помощи каких-нибудь законов и предписаний превратить видимое изобилие наших гимназий и учителей в настоящее изобилие, в *ubertas ingenii*³, не уменьшая их числа. Мы должны быть солидарны в том, что лишь чрезвычайно редкие люди предназначены от природы к подлинному образовательному пути и что для их успешного развития достаточно гораздо меньшего числа средних учебных заведений; современные же учебные заведения, рассчитанные на широкие массы, менее всего содействуют развитию именно тех, ради которых вообще имеет смысл учреждать что-либо подобное.

То же самое справедливо и относительно учителей. Как раз лучшие – те, которые, применяя крупный масштаб, вообще достойны этого высокого имени, – теперь, при современном состоянии гимназии, пожалуй, меньше всего

1 милостью природы (лат.).

2 подобное стремится к подобному (лат.).

3 преизбыток дарований (лат.).

пригодны для воспитания этой неотобранной, случайно сведенной вместе молодежи, и принуждены сохранять в тайне то лучшее, что могли бы ей дать. А громадное большинство учителей чувствует себя полноправным в этих заведениях, ибо их способности находятся в известном гармоничном соответствии с низким духовным полетом и умственной скудностью их учеников. Из среды этого большинства раздается призыв к основанию все новых гимназий и средних учебных заведений. Мы живем в эпоху, когда, благодаря этому непрерывному оглушительному призыву, кажется, будто действительно существует громадная жаждущая утоления потребность в образовании. Но именно здесь надо правильно слушать, именно здесь, не смущаясь звонким эффектом слов, надо смотреть в лицо тем, кто так неустанно твердит об образовательных потребностях своего времени. Тогда придется пережить странное разочарование; то самое, которое мы с тобой, мой добрый друг, так часто переживали. Громкие глашатаи потребности в образовании внезапно при более внимательном рассмотрении вблизи превращаются в ревностных, даже фанатичных противников истинного образования, т.е. такого, которое связано с аристократической природой духа. Ибо в сущности они считают своею целью эмансипацию масс от господства великих индивидов, в сущности, они стремятся ниспровергнуть священный порядок в царстве интеллекта: служебную роль массы, ее верноподданническое послушание, ее инстинкт верности скипетру гения.

Я давно приучился осторожно относиться ко всем тем, кто усердно ратует за так называемое народное образование, как оно обыкновенно понимается. Ибо большей частью, сознательно или бессознательно, они желают для себя, при общих сатурналиях варварства, безудержной свободы, которой им никогда не предоставит священная иерархия природы. Они рождены для служения, для повиновения, и каждое мгновение деятельности их пресмыкающихся, ходульных или слабокрылых мыслей подтверждает, из какой глины их вылепила природа и какое фабричное клеймо выжгла она на этой глине. Следовательно, нашей целью будет не образование массы, а образование отдельных избранных людей, вооруженных для великих и непреходящих дел. Ведь

мы теперь знаем, что справедливое потомство будет судить об общем образовательном уровне народа лишь по великим одиноко шествующим героям эпохи и произнесет свой приговор в зависимости от того, в какой мере их признавали, поощряли и чтили или же изолировали, оскорбляли и истребляли. Прямым путем, т.е. повсеместным принудительным элементарным обучением, удастся лишь чисто внешне и приблизительно добиться того, что называют народным образованием; настоящие же более глубокие области, где широкая масса соприкасается с образованием, те области, где народ питает свои религиозные инстинкты, где он продолжает творить свои мифические образы, где он сохраняет верность своим обычаям, своему праву, своей родной почве, своему языку, – все они едва ли достижимы прямым путем, и во всяком случае это будет путь разрушительного насилия; а потому подлинным содействием народному образованию в столь серьезных вещах были бы лишь отпор такому разрушительному насилию и поддержание спасительной бессознательности, той здоровой народной сонливости, без противовеса и целительного действия которой невозможна никакая культура с истощающим напряжением и возбуждением ее воздействий.

Но мы знаем, чего домогаются те, кто желает прервать этот целительный сон народа, кто постоянно кричит ему: “Проснись, будь сознательным, будь умным!” Мы знаем, куда метят те, кто путем чрезмерного умножения образовательных заведений, путем вызванного таким образом к жизни высоко мнящего о себе сословия учителей якобы желает удовлетворить могучую потребность в образовании. Именно эти господа и как раз этими средствами борются против естественной иерархии в царстве интеллекта, разрушая корни высочайших и благороднейших образовательных сил, вырастающих из бессознательного состояния народа, материнское назначение которых заключается в порождении гения и затем в правильном его воспитании и уходе за ним. Лишь по сходству с матерью пойдем мы значение и обязанности, которые истинная образованность народа имеет по отношению к гению. Само возникновение гения происходит не в ней, он имеет лишь, так сказать, метафизическое происхождение, метафизическую родину. Но то,

что он является перед нами, то, что он выныривает из гущи народа, что он, словно отраженный образ, воплощает насыщенную игру красок всех самобытных сил этого народа, и что высшее назначение народа он дает познать в полу-аллегорической сущности индивида и в вечном творении, связуя таким образом свой народ с вечностью и освобождая его от изменчивой сферы минутного, – все это под силу гению лишь тогда, когда он созрел и выкормился на материнском лоне образованности народа. Без этой же укрывающей и согревающей его родины он не развернет крыльев для своего вечного полета, но со временем, подобно чужестранцу, затерявшемуся в зимней глуши, печально удалится из негостеприимной страны».

«Учитель, – заметил тогда спутник, – вы повергаете меня в недоумение этой метафизикой гения, и лишь изда-лека чувствую я справедливость ваших уподоблений. Зато я вполне понимаю ваши слова об избытке гимназий и вызванном таким образом перепроизводстве учителей средних учебных заведений. Именно на этой почве я имел опыт, убедивший меня, что образовательная тенденция гимназии *должна* приравниваться к громадному большинству учителей, которые, в сущности, не имеют ничего общего с образованием и лишь в силу упомянутой нужды попадали на этот путь и дошли до таких притязаний. Тот, кто в счастливую минуту просветления убедился в исключительности и недостижимости эллинского мира и в упорной борьбе защищал от себя самого это убеждение, знает, что доступ к такому прозрению всегда открыт лишь для немногих, и будет считать нелепым и унижительным, когда кто-нибудь с профессиональными целями и в расчете на заработок станет обращаться с греческими классиками как с обыкновенным орудием ремесла и бестрепетно ощупывать руками ремесленника эти святыни. Но именно в том лагере, откуда вербуются большая часть гимназических учителей – в лагере филологов весьма обычно такое грубое и непочтительное обращение. Поэтому наблюдаемое в гимназии распространение и дальнейшая передача такого отношения не должны нас удивлять.

Присмотримся только к молодому поколению филологов. Как редко подметим мы в них то стыдливое чувство,

в силу которого кажется, что по сравнению с миром эллинов мы даже не имеем никаких прав на существование! Как равнодушно и дерзко, напротив, выют эти юные птенцы свои жалкие гнезда внутри грандиознейших храмов! К большинству тех, кто еще со времени своих университетских годов самодовольно и бестрепетно разгуливает среди изумительных развалин древнего мира, должен бы взывать из каждого угла властный голос: «Прочь отсюда, вы, непосвященные, вы, никогда не добьющиеся посвящения; бегите молча из этого святилища, бегите молча и со стыдом!» Увы, этот голос взывает напрасно: ибо надо обладать хоть каплей эллинского духа, чтобы понять греческую формулу заклęcia и изгнания. Но они до такой степени варвары, что сообразно своим привычкам с комфортом располагаются среди этих развалин. Они приносят с собой туда все современные удобства и пристрастия и отлично прячут их под античными колоннами и надгробными памятниками, причем поднимают большое ликование каждый раз, когда в античной обстановке найдут то, что сами же предварительно хитро запрятали туда. Один пишет стихи и умеет рыться в словаре Гесихия: тотчас же он убеждается, что призван быть переводчиком Эсхила и находит верующих, которые утверждают, что он конгениален Эсхилу, он, этот жалкий рифмоплет! Другой подозрительным оком полицейского выслеживает все противоречия, даже тени противоречий, в которых провинился Гомер; он тратит свою жизнь на разрывание и сшивание гомеровских лоскутов, которые он сам же сперва выкрал из его великолепного одеяния. Третьему не по вкусу все мистериальные и оргиастические стороны древности; он раз и навсегда решает допускать признания лишь разъясненного Аполлона и видеть в афинянине только веселого, рассудительного, хотя несколько безнравственного почитателя Аполлона. С каким облегчением он вздыхает каждый раз, когда ему удается возвести какой-нибудь темный уголок древности на высоту собственного просвещения, когда он, например, открывает в старике Пифагоре доблестного собрата по просветительной политике! Четвертый мучится над разрешением вопроса, почему судьба обрекла Эдипа на столь ужасные поступки, как убийство отца и женитьба на родной матери.

Где же тут вина? Где поэтическая справедливость? Внезапно ему все становится понятно: ведь Эдип был собственно страстный малый, не сдерживаемый христианской кротостью; однажды он даже совсем непристойно разгорячился – когда Тирезий назвал его извергом и проклятием всей страны. «Будьте кротки, – вот чему, вероятно, хотел учить Софокл, – иначе вы женитесь на своей матери и убьете своего отца!» Еще другие всю жизнь занимаются подсчетом стихов греческих и римских поэтов и радуются пропорции $7:13 = 14:26$. Наконец, кто-то обещает даже разрешение такого вопроса, как гомеровский, с точки зрения предлогов, и думает с их помощью извлечь истину на свет божий. Но все они, при всем различии тенденций, копаются и роются в эллинской почве с такой неутомимостью и неуклюжей неловкостью, что серьезному другу древности должно буквально сделаться страшно. Поэтому у меня является желание взять за руку всякого способного или не способного человека, обнаруживающего известную профессиональную склонность к античности, и произнести перед ним следующую тираду: «Знаешь ли ты, какие опасности угрожают тебе, молодой человек, отправленный в путь лишь с умеренным запасом школьного знания? Слышал ли ты, что, по словам Аристотеля, быть убитым падающей статуей – значить погнубнуть не трагической смертью! А именно такая смерть угрожает тебе. Это тебя удивляет? Так знай же, что филологи в течение столетий пытаются вновь установить упавшую и ушедшую в землю статую греческой древности, но до сих пор их силы оказывались недостаточными; ибо это колосс, по которому отдельные людишки карабкаются точно карлики. В дело пущены громадные соединенные усилия и рычаги современной культуры; но едва ее приподымают от земли, как она снова падает назад, давя людей в своем падении. С этим еще можно было бы примириться, ибо каждое живое существо должно от чего-нибудь погнубнуть. Но кто может поручиться, что при этих попытках сама статуя не разобьется на куски? Филологи гибнут от греческих классиков – это еще можно перенести, но ведь сам классический мир разбивается на куски по вине филологов! Подумай над этим, легкомысленный молодой человек, и вернись обратно, коль скоро ты не иконоборец».

«И в самом деле, – со смехом сказал философ, – значительное число филологов вернулось теперь обратно, как ты того требуешь. Я наблюдаю большую перемену сравнительно с положением дел во времена моей юности. Большое количество их сознательно или бессознательно приходит к убеждению, что прямое соприкосновение с классической древностью для них и бесполезно, и безнадежно. Оттого-то изучение классиков у большинства самих филологов слывет бесплодным и отжившим эпигонством. С тем большей охотой накинута эта стая на языковедение. Здесь, на бескрайних просторах свежевзрытой пашни, где в настоящее время может с пользой применяться даже самое умеренное дарование и где, в свете новизны и неустойчивости методов и постоянной опасности фантастических заблуждений, известная трезвость рассматривается как положительный талант – здесь, где работа сомкнутым строем является наиболее желательной, – здесь приближающегося новичка не ошеломят тот изгоняющий голос божества, который звучал ему из развалин древнего мира. Здесь еще каждого встречают с распростертыми объятиями, и даже тот, кого Софокл и Аристофан никогда не наводили на значительную мысль или незаурядное чувство, может с успехом стоять за этимологическим станком или заниматься собиранием потерявшихся диалектических пережитков – и так среди состыковок и разделений, собирания и рассеивания, беготни взад и вперед и заглядывания в различные книги будет незаметно проходить его день. Но вот от этого приносящего столь большую пользу языковеду требуется, прежде всего, чтобы он был учителем! И именно ему, сообразно своим обязанностям, надлежит преподавать для блага гимназической молодежи нечто о древних авторах, относительно которых у него самого никогда не было самостоятельных впечатлений и еще менее понимания. Какое затруднительное положение! Древний мир ему ничего не говорит, следовательно, и ему нечего сказать о древнем мире. Внезапно у него становится светло и легко на душе: ведь недаром же он языковед! Недаром те авторы писали по-латыни и по-гречески! И вот он тотчас весело приступает к этимологизированию Гомера, привлекая на помощь литовский или церковно-славянский язык, а прежде всего священный сан-

скрит, как будто бы школьные уроки греческого языка являются только предлогом для всеобщего введения в языкознание и как будто Гомер повинен лишь в одном принципиальном недостатке – в том, что не написан на древнем индоевропейском наречии. Кто знаком с современными гимназиями, знает, как чужды их учителя классической тенденции и как именно из сознания этого недостатка вытекает преобладание у подобных ученых занятий сравнительным языкознанием».

«Я же думаю, – сказал спутник, – важно именно то, чтобы преподаватель классической образованности не смешивал своих греков и римлян с другими варварскими народами и чтобы греческий и латинские языки *никогда* не могли бы стать для него *наряду* с другими языками. Как раз для его классической тенденции безразлично, совпадает ли скелет этих языков со скелетами других и родствен ли он им. Для него суть дела не в совпадениях. Именно *не общее*, именно то, что возносит эти народы как не-варварские высоко над всеми остальными, должно притягивать его подлинную симпатию, поскольку он является преподавателем настоящей образованности и хочет преобразовать самого себя согласно возвышенному прообразу классического мира».

– Быть может, я ошибаюсь, – сказал философ, – но у меня возникает подозрение, что при том методе, по которому теперь в гимназии обучают латыни и греческому, утрачивается именно умение владеть языком, непринужденное, обнаруживающееся в разговоре и письме господство над ним; нечто, характеризовавшее мое, правда, теперь уже сильно состарившееся и поредевшее поколение. Теперешние же учителя, кажется мне, до такой степени вдаются со своими учениками в генетическое и историческое рассмотрение, что, в конце концов, в лучшем случае из них выходят маленькие санскритологи, любители этимологических фейерверков или не знающих никакого удержания гипотез. Но ни один из них не в состоянии, подобно нам, старикам, с удовольствием читать своего Платона или Тацита. Поэтому, быть может, гимназии и теперь еще служат рассадниками учености, но это не та ученость, которая является естественным, непреднамеренным побочным продуктом образования, направленного к благороднейшим целям; ее

скорее можно сравнить с гипертрофической опухолью нездорового тела. И гимназии – рассадники этой ученой жирной немочи – зачастую даже вырождаются в атлетические школы того элегантного варварства, которое теперь чванливо зовет себя «немецкой культурой современности».

– Но куда же, – спросил спутник, – деваться тому несчастному множеству учителей, которых природа не наделила способностью к истинному образованию и которые скорее в силу нужды, из-за того, что избыток школ требует избытка учителей, и чтобы прокормить самих себя дошли до притязания изображать из себя преподавателей образованности? Куда деваться им, если древность властно отвергает их? Разве не должны они пасть жертвой тех сил современности, которые изо дня в день взывают к ним неустанно из всех органов прессы: «Мы – культура! Мы – образование! Мы – стоим на высоте! Мы – вершина пирамиды! Мы – цель мировой истории!» – когда они слышали соблазнительные обетования, когда перед ними в газетах и журналах восхваляют именно позорнейшие знамения некультурности, плебейскую публичность так называемых «культурных интересов», выставляя их как фундамент совершенно новой и в высшей степени зрелой формы образования. Куда деваться этим несчастным, если в них живо еще хотя бы слабое подозрение лживости упомянутых обещаний, – куда же, как не в самую тупую, мелочную, высушенную начучность, чтобы по крайней мере здесь не слышать более неустанных образовательных воплей? Разве не вынуждены они, преследуемые таким образом, подобно страусу спрятать свою голову в кучу песка? И не истинное ли для них счастье – возможность вести муравьиную жизнь, зарывшись в диалекты, этимологии и конъектуры, хотя бы и на огромном расстоянии от истинного образования, но зато по крайней мере с заткнутыми ушами, не доступными и глухими голосу элегантной культуры эпохи?

– Ты прав, друг мой, – сказал философ, – но где же та железная необходимость, в силу которой неизбежен излишек образовательных школ, а значит и излишек учителей? Ведь мы же ясно сознаем, что требование такого излишка раздается из сферы, враждебной образованию, и что результаты его благоприятствуют только необразованности.

В действительности же речь о такой железной необходимости может идти лишь постольку, поскольку современное государство привыкло подавать свой голос в этих делах, сопровождая свои требования бряцанием бранных доспехов. Последнее явление, правда, производит на большинство людей такое же впечатление, как если бы им вещала вечная железная необходимость, первичный закон всех вещей. Но все же выступающее с такими требованиями «культурное государство», как его теперь называют, есть нечто юное и стало чем-то «само собой разумеющимся» лишь за последние полвека, то есть в эпоху, которой, согласно ее излюбленному выражению, кажется «само собой разумеющимся» чересчур многое, что само по себе отнюдь не разумеется само собой. Как раз наиболее мощное из современных государств, Пруссия, так серьезно отнеслось к этому праву верховного руководства в деле образования и школы, что, учитывая смелость, свойственную данному государству, усвоенный им сомнительный принцип получает общее угрожающее, а для истинного немецкого духа положительно опасное значение. Ибо с этой стороны мы находим формально систематизированное стремление поднять гимназию на так называемый «уровень требований времени». Здесь процветают все те мероприятия, при помощи которых как можно большее число учеников прищипывается для гимназического воспитания; здесь государство даже с таким успехом применило свое наимогущественнейшее средство – дарование известных льгот по военной службе, что, по откровенному свидетельству государственных служащих, это и только это объясняет общую переполненность всех прусских гимназий и настоятельную непрекращающуюся потребность в открытии новых. Что же более может сделать государство для поощрения такого избытка образовательных заведений, как ни привести в необходимую связь с гимназией все высшие и большую часть низших чиновничьих должностей, а также и право посещения университетов и даже самые значительные военные льготы; и это в стране, где всецело одобряемая народом всеобщая воинская повинность наряду с самым неограниченным политическим честолюбием чиновников бессознательно влечет на эти пути все одаренные натуры. Здесь на гимназию

смотрят как на известную ступень к почестям; и все, что только обуреваются влечением к административным сферам, оказывается на дороге гимназии. Новое и несомненно оригинальное явление заключается в том, что государство берет на себя роль мистагога культуры и, заботясь о достижении своих целей, принуждает каждого из своих слуг появляться перед собой только с факелом всеобщего санкционированного государством образования. В неверном мерцании этих факелов гражданин видит государство как высшую цель, как награду за все свои образовательные труды. Последнее явление, правда, должно было привести в недоумение; оно должно бы напомнить родственную, постепенно разгаданную тенденцию философии, которая в свое время поощрялась государством и имела ввиду цели государства – тенденцию гегелевской философии. Пожалуй, не было бы даже преувеличением утверждать, что в деле подчинения всех образовательных стремлений государственным целям Пруссия с успехом воспользовалась практически применимым наследием гегелевской философии; ее апофеоз государства достиг своей высшей точки именно в *этом* подчинении.

– Но, – спросил спутник, – какие же намерения может преследовать государство такой странной тенденцией? А что оно их преследует, вытекает уже из того, что прусские школьные условия вызывают восхищение других государств, серьезно взвешиваются ими и кое-где находят подражателей. Эти другие государства, очевидно, предполагают здесь нечто, в такой же мере способствующее прочности и силе государства, как и прославленная и ставшая вполне популярной всеобщая воинская повинность. Там, где каждый периодически с гордостью носит солдатский мундир, где почти каждый, благодаря гимназии, воспринял обезличивающую, как мундир, государственную культуру, там энтузиасты готовы говорить чуть ли не об античных временах, о достигнутом только однажды, в древнем мире, всемогуществе государства, которое почти каждый юноша, в силу инстинкта и воспитания, приучился считать украшением и величайшей целью человеческого бытия.

– Положим, – сказал философ, – такое сравнение преувеличено и хромает на обе ноги. Античный государственный строй оставался чрезвычайно далек именно от этих

утилитарных соображений, согласно которым значение образования признается лишь постольку, поскольку оно непосредственно приносит пользу государству, а стремления, которые не поддаются незамедлительному использованию в интересах последнего, подавляются. Глубокомысленный грек именно потому питал к государству почти поражающее современного человека чувство восхищения и благодарности, что сознавал, сколь немисливо было бы развитие малейшего зародыша культуры без такого попечительного и охранительного установления; поэтому вся его неподражаемая и единственная на все времена культура разрослась так пышно благодаря заботам и мудрому покровительству попечительных и охранительных учреждений государства. Государство было для его культуры не пограничным стражем, не регулятором или надсмотрщиком, но крепким, мускулистым, вооруженным для борьбы товарищем и попутчиком, который провожал своего достойного преклонения, более благородного и как бы неземного друга, охраняя его от суровой действительности и получая за это благодарность. Если же теперь современное государство претендует на подобную восторженную благодарность, то это, разумеется, не потому, что оно сознает за собой рыцарское отношение к высшему немецкому образованию и искусству. Ибо с этой стороны его прошедшее так же позорно, как и его настоящее. Чтобы убедиться, следует только подумать о том, как чтится память наших великих поэтов и художников в германских столицах и насколько высочайшие художественные замыслы этих немецких мастеров подерживаются со стороны государства.

Таким образом, должны существовать особые причины как для той государственной тенденции, которая всевозможными путями поощряет то, что здесь называют «образованием», так и для поощряемой таким образом культуры, подчиняющейся вышесказанной государственной тенденции. С истинно немецким духом и с образованием, которое бы вело от него свое начало и которое я тебе, друг мой, обрисовал беглыми чертами, эта государственная тенденция находится в открытой или тайной вражде. Поэтому *тот* дух образования, который благоприятен государственной тенденции и к которому она относится с живым сочув-

ствием, заставляющим другие страны восхищаться ее постановкой школьного дела, должен происходить из сферы, не соприкасающейся с тем чисто немецким духом, который столь чудесно говорит нам из внутреннего ядра немецкой реформации, немецкой музыки, немецкой философии и на который, как на благородного изгнанника, так равнодушно, так оскорбительно взирает это роскошествующее под санкцией государства образование. Истинно немецкий дух – это чужак: одиноко и печально он проходит мимо, а там раскачивают кадилыницы перед той псевдокультурой, которая, под возгласы «образованных» учителей и газетных писак, присвоила себе *его* имя, его почести и ведет постыдную игру со словом «немецкий». Для чего нужен государству этот преизбыток образовательных учреждений и учителей? К чему это основанное на широких началах народное образование и народное просвещение? Потому что ненавидят чисто немецкий дух, потому что боятся чисто аристократической природы истинного образования, потому что хотят довести до добровольного изгнания крупные личности, насаждая и питая в массе образовательные претензии, потому что пытаются избежать строгой и суровой дисциплины великих вождей, внушая массе, что она сама найдет дорогу с помощью путеводной звезды государства! Новый феномен! Государство в роли путеводной звезды образования! Однако меня утешает одно: этот немецкий дух, с которым так борются, которые подменен пестро украшенным заместителем, – этот дух храбр. Сражаясь, он пробьется вперед когда-нибудь в более светлую эпоху; благородный, каков он есть, и победоносный, каким он будет, он сохранит некоторое сострадательное чувство по отношению к государству, которое, будучи доведено до крайности, в минуту нужды ухватило за псевдокультуру как за союзницу. Ибо, в конце концов, кто может оценить трудность задачи управлять людьми, т.е. поддерживать закон, порядок, спокойствие и мир среди многих миллионов, в большинстве случаев беспредельно эгоистических, несправедливых, нечестных, завистливых, злобных и притом ограниченных и упрямых людей, и в то же время постоянно отстаивать от жадных соседей и коварных разбойников то немногое, что приобрело себе государство? В свете таких

угроз государство хватается за всякого союзника. А если к тому же последний сам предлагает себя в напыщенных тирадах, называет его, государство, как, например, Гегель, абсолютно совершенным этическим организмом и ставит задачу образования каждого человека – отыскать место и положение, на котором он мог бы с наибольшей пользой служить государству, то что же удивительного, что государство без дальнейших околичностей бросается на шею к такому напрашивающемуся союзнику и в свою очередь с полным убеждением начинает восклицать своим густым варварским басом: «Да! Ты – образование! Ты – культура!».

Лекция IV

Уважаемые слушатели! После того как вы до сих пор неизменно следили за моим рассказом и мы сообща преодолели уединенный, местами обидный диалог между философом и его спутником, я могу питать надежду, что вы теперь, как выносливые пловцы, готовы превозмочь и вторую половину плавания, тем более что могу вам обещать появление новых марионеток на маленькой сцене кукольного театра моих переживаний; поэтому я полагаю, что если вы выдержали все предыдущее, то волны рассказа теперь быстрее и легче донесут вас до конца. Мы скоро доберемся до поворотного пункта, и будет целесообразно еще раз в коротком ретроспективном взгляде запечатлеть все то, что мы, по-видимому, извлекли из столь изобиловавшего поворотами разговора.

«Оставайся на своем посту, – зывал философ к своему спутнику, – ибо ты вправе надеяться. Ведь все яснее обнаруживается отсутствие у нас образовательных учреждений и необходимость их иметь. Наши гимназии, предназначенные по своему плану для этой цели, сделались либо питомниками сомнительной культуры, с глубокой ненавистью отталкивающей от себя истинное, т.е. аристократическое, опирающееся на мудрый подбор умов образование, либо выращивает мелочную, сухую или во всяком случае чуждую образованию ученость, достоинство которой, быть может, и состоит именно в том, что она по крайней мере притупляет восприимчивость зрения и слуха к искушениям упомянутой сомнительной культуры». Философ прежде всего обратил внимание своего спутника на странное вырождение, которое должно было наступать в самом ядре культуры для того, чтобы государство могло считать себя господином, чтобы оно с ее помощью могло преследовать свои государственные цели и в союзе с ней бороться против чужих, враждебных сил, так же как и против духа, который философ отважился назвать «истинно немецким». Этот дух, при-

кованный в силу благороднейшей потребности к грекам, сохранившийся мужественным и выносливым в течение всего тяжелого прошлого, чистый и возвышенный по своим целям, способный, благодаря своему искусству, к верховной задаче, к освобождению современного человека от проклятия современности, – этот дух осужден жить вдали, оставаясь лишенным своего наследия. Но когда его протяжные жалобы раздаются в пустыне современности, тогда они пугают ее многолюдный и пестрый образовательный караван. Не только изумление, но испуг должны мы приносить, гласило мнение философа, не боязливо убежать, а нападать советовал он. Особенно же убеждал он своего спутника не слишком робко и недоверчиво относиться к той личности, которая, благодаря высшему инстинкту, явится носительницей антипатии к современному варварству. «Пусть она погибнет; пифийский бог без труда находил новый треножник и новую пифию, откуда мистический пар еще клубился из глубины».

И снова философ возвысил свой голос: «Заметьте же хорошенько, друзья, – сказал он, – что вы не должны смешивать двух вещей. Очень многому должен научиться человек, чтобы жить, чтобы вести свою борьбу за существование; но все, что он, как индивид, изучает и предпринимает с этой целью, не имеет еще ничего общего с образованием. Последнее, напротив, начинается только в воздушной сфере, которая простирается высоко над миром нужды, борьбы за существование и разных жизненных потребностей. Спрашивается только, как высоко оценивает человек собственный субъект наряду с другими субъектами, как много сил он тратит на ту индивидуальную жизненную борьбу. Некоторые могут путем стоического ограничения своих потребностей скоро и легко подняться до тех сфер, где они будут в состоянии забыть себя и сбросить свой субъект, чтобы в солнечной системе безвременных и безличных интересов наслаждаться вечной юностью. Другие же так растягивают вширь влияние и потребности своего субъекта и строят в таком грандиозном размере мавзолей своего “я”, как будто они таким путем обретут возможность одолеть в единоборстве своего исполинского противника – “время”. И в таком стремлении тоже обнаруживается жажда бессмер-

тия; богатство и власть, ум, присутствие духа, красноречие, цветущий вид, весомое имя – все здесь становится лишь средством для ненасытной личной воли к жизни, стремящейся к новой жизни, алчущей вечности, в конечном счете лишь призрачной.

Но даже и в этой высочайшей форме субъекта и в наиболее интенсивной потребности такого расширенного и как бы коллективного индивида еще нет соприкосновения с истинным образованием. Если, например, с этой стороны желают искусства, то при этом принимаются в соображение лишь его развлекающие и возбуждающие элементы, т.е. те, которые чистое и возвышенное искусство всего менее способно вызвать, но которые лучше всего вызываются искусством обесчещенным и загрязненным. Ибо в совокупности своих поступков и стремлений, пусть даже высокой в глазах постороннего наблюдателя, он никогда не сможет избавиться от своего алчного и беспокойного субъекта. От него ускользает лучезарная эфирная высь созерцания, свободно от всего субъективного, и поэтому он, сколько бы ни учился, ни путешествовал, ни коллекционировал, обречен жить изгнанником, навеки удаленным от пределов истинного образования. Ибо последнее презирает пятнающую его связь с обуреваемым желаниями и потребностями индивидом. Оно благоразумно ускользает от того, кто хотел бы обеспечить его себе как средство для эгоистических намерений. И когда кому-нибудь чудится, что он крепко держит его, так что может обратить в средство для заработка и утолить свои жизненные нужды путем его эксплуатации, оно внезапно неслышными шагами с гримасой презрения убегает прочь.

Итак, друзья мои, не смешивайте это образование, эту легконогую, прихотливую эфирную богиню с той полезной служанкой, которая по временам также зовет себя образованием, но на деле только интеллектуальная прислужница и советчица в делах житейской нужды, добывания средств, утоления потребностей. А всякое воспитание, которое ставит конечной целью своего поприща должность или хлебный заработок, не есть воспитание, направленное к образованию, как мы его понимаем, но лишь наставление, каким путем можно спасти и охранить свой субъект в борьбе за существование. Конечно, подобное наставление для боль-

шинства людей является вопросом первой и ближайшей важности; и чем труднее борьба, тем усерднее надо учиться молодому человеку, тем напряженнее должен он использовать свои силы.

Пусть, однако, никто не думает, что заведения, прищипывающие и вооружающие человека для этой борьбы, могут в сколько-нибудь серьезном смысле рассматриваться как образовательные учреждения. Это лишь учреждения, вооружающие человека для одоления житейских нужд, все равно, обещают ли они воспитать чиновников или купцов, офицеров, оптовых торговцев, сельских хозяев, врачей или техников. Для таких учреждений, однако, необходимы во всяком случае иные законы и масштабы, чем для создания образовательного заведения; и что здесь позволительно и даже всячески предписывается, может явиться там преступной несправедливостью.

Приведу вам, друзья мои, пример. Если вы хотите вести молодого человека по правильному образовательному пути, то остерегайтесь нарушать его наивное, доверчивое, личное и непосредственное отношение к природе, пусть и лес, и скалы, и буря, и коршун, каждый отдельный цветок и мотылек, и лужайка, и горный склон разговаривают с ним на своем языке: в них, как в бесчисленных разбросанных отблесках и отражениях, в пестром потоке сменяющихся явлений, пусть узнает он себя. Таким образом он бессознательно ощутит метафизическое единство всех вещей на великом примере природы и в то же время обретет успокоение перед лицом ее вечного постоянства и необходимости. Но многим ли молодым людям дозволено вырасти в столь близких, почти личных отношениях к природе? Прочим приходится преждевременно познать другую истину – как подчинить себе природу. Тогда приходит конец прежней наивной метафизике: физиология растений и животных, геология, неорганическая химия вырабатывают в своих учениках иной, измененный взгляд на природу. То, что утрачивается из-за этой новой навязанной точки зрения, не просто поэтическая фантазмодория, но инстинктивное, истинное, единственное понимание природы; на его место заступают теперь благоразумные расчеты и желание перехитрить природу. Таким образом, истинно образованному

человеку предоставлено неоценимое благо – безо всякого слома остаться верным созерцательным инстинктам своего детства и тем самым достичь спокойствия, единства, общей связи и гармонии, о которых даже представления не имеет тот, кто взращен для житейской борьбы.

Но не думайте все же, друзья, что я хочу умалить достоинство наших реальных училищ и высших городских школ; я чту места, где учат основательно считать, где усваивают разговорные языки, серьезно относятся к географии и вооружаются удивительными сведениями естествознания. Я готов так же охотно допустить, что юноши, получившие образование в наших лучших реальных школах, имеют полное право на все притязания, заявляемые выпускниками гимназий, и, очевидно, недалеко уже время, когда людям с такой подготовкой так же неограниченно откроют двери университетов и доступ к государственным должностям, как это до сих пор делали лишь по отношению к питомцам гимназии – заметьте, к питомцам современной гимназии. Но я не могу в заключение удержаться от следующего горестного добавления: если верно, что реальная школа и гимназии в общем так единодушны в своих настоящих целях и, отличаясь друг от друга лишь в тонкостях, могут рассчитывать на полное равноправие перед форумом государства, то, значит, у нас полностью отсутствует одна разновидность воспитательных учреждений – образовательное учреждение! Это менее всего упрек в адрес реальных училищ, которые до сих пор столь же успешно, как и честно, преследовали более низменные, но в высшей степени необходимые тенденции. Но гораздо менее честно и гораздо менее успешно ведется дело в гимназии; ибо здесь живо еще какое-то инстинктивное чувство стыда, неосознанного признания, что учреждение его в целом позорно деградировало и что звучным образовательным лозунгам мудрых учителей-апологетов противоречит варварски пустынная и бесплодная действительность. Итак, образовательных учреждений не существует! А там, где еще пытаются подделаться под них, царит куда большая безнадежность, захудалость и недовольство, чем у очагов так называемого «реализма»! Заметьте, кстати, друзья мои, как грубы и не осведомлены должны быть учительские круги, которые мог-

ли настолько неверно истолковать строго философские термины «реальный» и «реализм», чтобы почуять под ними противоположность между материей и духом и истолковать «реализм» как «направленность на познание, преобразование действительности и овладение ею».

Я, со своей стороны, знаю лишь одну истинную противоположность – *образовательные учреждения и учреждения, вызванные житейскими нуждами*; ко второму роду относятся все существующие, о первом же говорю я».

Прошло, быть может, часа два, пока оба философа беседовали о столь необычных вещах. Ночь наступила, и если уже в сумерках голос философа звучал как музыка природы в этом лесном уголке, то теперь, в полном мраке ночи, каждый раз, когда он заговаривал возбужденно и страстно, звуки рассыпались раскатистым громом, с треском и шипением, отскакивая от бегущих вниз стволов и утесов. Внезапно он замолк; он только что почти жалобно повторил: «У нас нет образовательных заведений, у нас их нет», – как что-то, быть может, еловая шишка, упало прямо перед ним, и его собака с громким лаем бросилась вперед. Прерванный таким образом, философ поднял голову и почувствовал разом ночь, прохладу и уединенность. «Что мы, однако, делаем! – сказал он своему спутнику. – Ведь уже совсем стемнело. Ты знаешь, кого мы здесь ожидаем, но он, верно, уже не придет. Напрасно здесь мы просидели так долго. Пойдем!»

Теперь, уважаемые слушатели, мне следует познакомиться вас с ощущениями, с какими мой друг и я следили из нашего потайного уголка за отчетливо доносящимся разговором, к которому мы жадно прислушивались. Я ведь сказал вам, что мы намеревались праздновать дорогое нам воспоминание на этом месте и в этот час. Это воспоминание касалось не более и не менее как вопросов воспитания и образования, т.е. области, где мы, в своей юношеской уверенности, полагали, что за предыдущее время успели собрать обильную и удачную жатву. Таким образом, мы особенно желали с благодарностью помянуть тот союз, который мы некогда задумали, сидя здесь, и целью которого, как я уже раньше сообщал, было взаимно поощрять образовательные наклонности друг друга в тесном товарищеском кругу и наблюдать за их пробуждением. Внезапно же

на все прошлое упал совершенно неожиданный свет, когда мы, молча прислушиваясь, отдались во власть сильных речей философа. Мы очутились в положении людей, которые, неосторожно двигаясь вперед, внезапно замечают, что занесли ногу над пропастью; мы почувствовали, что вместо того, чтобы удаляться от величайших опасностей, приближались к ним. Здесь, в этом памятном для нас месте, услышали мы предостерегающий крик: «Назад! Ни шагу далее! Знаете ли вы, куда несут вас ноги, куда манит эта обманчивая дорога?».

Казалось, что теперь мы это знали, и чувство льющей через край благодарности неудержимо толкало нас к строгому стражу и «верному Эккарту», так что мы оба вскочили разом, чтобы обнять философа. Последний уже поднялся, чтобы уходить. Когда мы неожиданно и шумно подскочили к нему, а собака с резким лаем кинулась нам навстречу, то ему и его спутнику, должно быть, подумалось о разбойном нападении, а не о восторженных объятиях. Очевидно, он забыл о нас; одним словом, он пустился бежать. Когда мы его догнали, наша попытка обнять его потерпела полную неудачу: мой друг вскрикнул, укушенный собакой философа, а спутник последнего с такой яростью набросился на меня, что мы оба упали. Между собакой и человеком завязалась тем временем жуткая свалка, продолжавшаяся несколько минут, пока моему другу не удалось, пародируя слова философа, громко прокричать: «Именем всех культур и псевдокультур! Чего хочет от нас глупая собака! Проклятый пес, прочь отсюда, ты, непосвященный и никогда не удостоившийся посвящения, прочь от нас и наших потрохов, изыди молча и посрамленно». После этого воззвания сцена несколько прояснилась, насколько это допускала полная темнота, царившая в лесу. «Это они! – вскричал философ. – Наши стрелки! Как вы нас напугали! Что заставило вас так наброситься на меня в эту ночную пору?»

«Радость, благодарность, уважение руководило нами, – сказали мы, пожимая руку старца, тогда как собака продолжала заливаться тревожным лаем. – Мы не хотели дать вам уйти, не сказав вам этого. А для того, чтобы вам все объяснить, мы просим вас еще повременить; нам хочется расспросить вас о многом, что как раз теперь у нас на серд-

це. Повремените же немного: нам знаком каждый шаг по дороге, мы потом проводим вас вниз. Быть может, придет и ожидаемый вами гость. Взгляните только вниз на Рейн. Что такое плывет там, точно окруженное светом многих факелов? Там должен быть ваш друг, и нам даже чудится, что он подымеется сюда к вам со всеми этими факелами».

Так осаждали мы удивленного старца своими просьбами, обещаниями, фантастическими выдумками, пока, наконец, и спутник не стал уговаривать философа еще немного погулять взад и вперед здесь, на вершине горы, на теплом воздухе ночи, стряхнув с себя, как он добавил, «познаний чад».

«Стыдитесь, – ответил на это философ. – Когда вы начинаете цитировать, то неужели вы можете брать цитаты только из «Фауста»? Но все же я вам уступлю, с цитатой или без нее, если только наши юноши выдержат и не бросятся бежать с такой же поспешностью, с какой они явились; ведь они похожи на блуждающие огни: не успеешь удивиться их появлению, как приходится удивляться их исчезновению».

Тогда мой друг тотчас же продекламировал:

«Почтения узду приняв,
Мы изменим свой легкий нрав:
Зигзаги – наш обычный бег».

Философ в недоумении остановился. «Вы поражаете меня, господа блуждающие огоньки, – сказал он. – Ведь здесь же не болото. На что вам это место? Что значит для вас общество философа? Здесь воздух резок и ясен, почва тверда и суха. Вам следует поискать более фантастическую область для ваших зигзагообразных наклонностей».

«Если я не ошибаюсь, – вмешался спутник, – эти господа сказали нам, что известное обещание связывает их на этот час с данным местом. Но мне кажется, что они, в качестве хора, прослушали нашу комедию об образовании и вели себя при этом как истинные идеальные зрители, ибо совершенно не мешали нам, и мы считали, что находимся наедине друг с другом».

«Да, – молвил философ, – это правда; в этой похвале я не могу отказать вам, но мне кажется, что вы заслуживаете и большей».

В эту минуту я схватил философа за руку и сказал: «Надо быть тупоголовым пресмыкающимся и ползать по земле брюхом, уткнувшись головой в грязь, чтобы, слыша речи, подобные вашим, не задумываться серьезно над ними, не возбудиться и не разгорячиться. Быть может, кто-либо и почувствовал бы при этом гнев, под влиянием досады и самообвинения; на нас же это произвело иное впечатление, и я только затрудняюсь его описать. Именно этот час был как нарочно выбран для нас, наш настрой оказался вполне подготовленным, мы сидели как открытые сосуды! Теперь кажется, что мы до краев наполнены новой мудростью, и я совершенно растерялся. Так что если кто-нибудь сейчас спросит меня, что я хочу делать завтра и что я отныне собираюсь делать, то я не сумею ответить ничего. Ибо, очевидно, мы до сих пор совершенно иначе жили, получали совершенно иное воспитание, чем следовало, но что нам сделать, чтобы перешагнуть пропасть, отделяющую сегодня от завтра?»

«Да, – подтвердил мой друг, – то же самое чувствую и я, тот же вопрос задаю и я. Кроме того, мне кажется, что столь возвышенные и идеальные взгляды на задачи немецкого образования отпугивают меня от него, как того, кто недостойн трудиться над его созиданием. Я вижу, как блестящее шествие самых богатых натур движется к этой цели, и предчувствую, через какие пропасти, мимо каких соблазнов оно идет. Кто будет настолько смел, чтобы присоединиться к нему?»

Тут и спутник также обратился к философу со словами: «Не прогневайтесь, если и я сознаю, что ощущаю нечто подобное, в чем и каюсь сейчас перед вами. В разговоре с вами мне часто кажется, что я подымаюсь над самим собой и согреваюсь до самозабвения около вашего мужества и ваших надежд. Но вслед за тем приходит более хладнокровная минута, резкий ветер действительности приводит меня в сознание, и я вижу, как широка пропасть, которая разверзается между нами и через которую вы перенесли меня как бы во сне. То, что вы называете образованием, болтается тогда вокруг меня и тяжестью ложится на мою грудь: это панцирь, который пригнетает меня, меч, которым я не в силах размахнуться».

Внезапно мы трое оказались единомышленными перед философом и, медленно прохаживаясь взад и вперед по безлесной полянке, служившей нам днем местом стрельбы, среди полнейшего безмолвия ночи, под мирно распростертым звездным небом, ободряя и подзадоривая друг друга, высказали ему совместными усилиями приблизительно следующее:

«Вы так много говорили о гении, о его одиноком многотрудном странствии по свету, как будто бы природа всегда порождает только крайние контрасты – косную, сонную, размножающуюся лишь в силу инстинктов массу и, с другой стороны, в безграничном отдалении от нее, великие, созерцательные, способные к созиданию вечных творений, единичные личности. Их вы называете вершиной интеллектуальной пирамиды; но ведь, очевидно, необходимы бесчисленные промежуточные ступени от широкого, тяжело нагруженного фундамента до свободно вздымающейся вершины, и здесь-то именно приложимо изречение: «*natura non facit saltus*»¹. Где же начинается то, что вы называете образованием, на какой ступени область низов граничит с областью верхов? И если можно говорить об истинном образовании только применительно к этим далеким личностям, то как можно основывать учреждение в расчете на их непредвиденное существование, как можно обдумывать систему образования, пригодную для одних лишь этих избранных? Нам, напротив, кажется, что они-то сумеют найти дорогу и обнаружат свои силы в умении ходить без тех образовательных костылей, которые необходимы другим. Они беспрепятственно проложат себе путь через сутолоку и суматоху мировой истории, подобно лунатику, пробирающемуся сквозь тесное и многолюдное собрание.

Нечто подобное высказали мы, хотя и не особенно складно и связно, а спутник философа пошел даже дальше, заметив учителю: «Подумайте же сами о всех великих гениях, которыми мы привыкли гордиться как испытанными и верными вожжами и руководителями истинно немецкого духа; мы чтим их память празднествами и статуями, с гордостью демонстрировали их творения иностранцам. Где

¹ природа не совершает скачков (*лат.*).

нашли они то образование, которого вы требуете, в какой мере они были вскормлены, и до какой степени созрели на родном солнце образования? И все же их появление оказалось возможным, все же они сделались теми, кого мы теперь так чтим. Их творения оправдывают, быть может, именно ту форму развития, которую приняли эти благородные натуры, оправдывают даже недостаток образования, который мы должны допустить у их времени, у их народа. Что мог Лессинг, что мог Винкельман почерпнуть из имевшегося тогда немецкого образования? Ничего или, по крайней мере, так же мало, как Бетховен, Шиллер, Гёте, как все наши великие художники и поэты. Быть может, таков закон природы, что всегда лишь позднейшие поколения сознают, какими небесными дарами были отмечены предыдущие».

Здесь старец-философ пришел в сильный гнев и закричал на своего спутника: «О, агнец простоты! О вы все, достойные звания млекопитающих! Что за кривые, неуклюжие, узкие, шероховатые, уродливые аргументы! Да, как раз сейчас я слышал голос образования наших дней, и у меня болит в ушах от сплошных исторических «самоочевидностей» и сплошных старчески рассудительных беспощадных исторических умствований. Внимай же, о неоскверненная природа: ты состарилась и уже тысячелетиями покоится над тобой это звездное небо, но таких образованных и, в сущности, злобных речей, какие по вкусу этой современности, ты еще никогда не слыхала. Итак, мои добрые германцы, вы гордитесь вашими художниками и поэтами? Вы показываете на них пальцем и кичитесь ими перед иностранцами? А так как вам не стоило никакого труда иметь их в своей среде, то вы выводите отсюда премилую теорию, гласящую, что и впредь вам незачем стараться ради них. Не правда ли, мои наивные детки, гении являются сами собой; их приносит вам аист. Стоит ли говорить о повивальных бабках? Ну, милейшие, вы заслуживаете серьезного урока. Как вы смеете гордиться тем, что все вышеназванные блестящие и благородные умы преждевременно задушены, истощены и угашены вашим варварством! Как, вы можете без стыда думать о Лессинге, который погиб именно от вашей тупости, в борьбе с вашими смехотворными Клётцами и Гёцами, от убожества вашего театра, ваших ученых,

ваших теологов, не имея возможности хоть раз отважиться на тот вечный полет, ради которого он явился в мир?! А что вы испытываете при упоминании Винкельмана, который, чтобы только не видеть ваших гротескных глупостей, отправился вымалывать помощь у иезуитов, и чье постыдное отступничество падает на вас и будет лежать на вас несмываемым пятном? Вы смеете даже помянуть имя Шиллера, не краснея? Посмотрите на его портрет! Горящий взор, с презрением устремленный поверх вас, смертельным жаром пылающие щеки – это ни о чем вам не говорит? То для вас – чудесная, божественная игрушка, которую вы изломали. А если еще отнять дружбу Гёте у этой угасавшей, до смерти затравленной жизни, то вам удалось бы погасить ее еще быстрее! Вы не содействовали творчеству ни одного из ваших великих гениев – и теперь на основании этого вы хотите установить догму, что никому впредь помощи не будет? Для каждого из них вы были тем «сопротивлением косного мира», который Гёте называет по имени в своем эпилоге к «Колоколу», по отношению к каждому вы были недовольными тупицами, или черствыми завистниками или злобными эгоистами; вопреки вам создавали они свои творения, против вас обращали они свой гнев, и вашими стараниями поникали они слишком рано, под грузом нескончаемой поденщины, искалеченные и оглушенные борьбой. Кто может себе представить чего суждено было достичь этим героическим людям, если бы истинно немецкий дух распростер над ними свой охранительный кров в виде мощного учреждения – тот дух, который при отсутствии такого учреждения влачит свои дни разрозненным, раздробленным и выродившимся? Все эти гении загублены; и нужна сумасшедшая вера в разумность всего совершающегося, чтобы пытаться оправдать ею вашу вину. И не одни эти гении! Изюм всех областей интеллектуальной незаурядности выступают обвинители против вас. Бросаю ли я взгляд на все дарования в области поэзии, или философии, или живописи, или пластики, будь то даже дарования не самой первой величины, всюду нахожу я нечто недозревшее, чрезмерно возбужденное или рано заснувшее, спаленное или замороженное до расцвета, всюду чую я «сопротивление косного мира», т.е. *вашу* вину. Вот что обозначает мое требование

образовательных заведений и мое сожаление о положении тех, которые себя таковыми именуют. И если кто пожелает назвать это «идеальным требованием» и вообще «идеальным», полагая этим отделаться от меня как похвалой, то да послужит ему ответом мое мнение, что существующее положение вещей попросту пошло и позорно, и что тот, кто в трескучий мороз требует тепла, должен прийти в ярость, если это его требование назовут «идеальным». Здесь дело идет о настоящей, неотложной действительности минуты; кто ее ощущает, тот знает, что это такая же настоящая нужда, как и холод и голод. Кто же ее не ощущает – ну, у того по крайней мере имеется масштаб для определения того, где кончается то, что я называю образованием, и на какой высоте пирамиды область низов разграничивается с областью верхов».

Философ, по-видимому, очень разгорячился. Мы предложили ему снова немного пройтись, меж тем как последние слова он произнес, стоя вблизи того пня, который служил нам мишенью для стрельбы. Некоторое время мы все молчали и медленно и задумчиво шагали взад и вперед. Мы чувствовали не столько стыд за приведенные нами нелепые аргументы, сколько, напротив, некоторую реабилитацию нашей личности; именно после возбужденных и нелестных для нас обращений философа мы почувствовали себя более близкими ему и стоящими с ним в более личной связи.

Ибо человек такое жалкое существо, что он быстрее всего сблизается с посторонним, когда тот обнаруживает перед ним какую-нибудь слабость или недостаток; тот факт, что наш философ разгорячился и позволил себе употребить бранные слова, перебросил мост через испытываемое до тех пор робкое благоговение. Для того, кто найдет подобное наблюдение возмутительным, следует прибавить, что этот мост часто приводит от дистанцированной почтительности к личной любви и состраданию. И это сострадание постепенно все сильнее овладевало нами вслед за чувством реабилитации нашей личности. К чему водили мы этого старика ночью по лесу и горам? И раз он в этом нам уступил, почему мы не нашли более спокойной и скромной формы для выражения нашего желания поучиться, почему мы, все трое, так неделикатно высказали наше несогласие?

Ибо теперь мы успели заметить, как необдуманно, не подготовлены и наивны были наши возражения, как сильно в них звучало как раз эхо *той* современности, голоса которой старик не хотел слышать в области образования. К тому же наши возражения не были чисто интеллектуального происхождения; причина, пробужденная словами философа и толкнувшая нас к сопротивлению, казалось, лежала в другом месте. Быть может, в нас говорило инстинктивное опасение насчет того, достаточно ли выигрышно смотрятся именно наши личности в свете таких воззрений, какие развивал философ, быть может, наши прежние представления о собственном образовании, почуяв опасность, соединились вместе, чтобы любой ценой найти причины, говорящие против точки зрения, которая во всяком случае в корне отвергала наши мнимые притязания на образованность. С противниками же, которые переносят на личную почву вескость аргументов, спорить не следует; или, как гласила мораль в нашем случае, такие противники не должны спорить, не должны противоречить.

Так шли мы рядом с философом пристыженные, мучимые сожалением, недовольные самими собой и более чем когда-либо убежденные, что старец прав, мы же были несправедливы к нему. Как далеко позади остались юношеские мечтания о нашем образовательном заведении, как ясно сознавали мы опасность, от которой до сих пор ускользали благодаря случаю, – опасность с потрохами продаться той образовательной системе, которая с детских лет, еще с гимназической скамьи, соблазнительно манила нас! Почему же мы, однако, еще не состояли в общественном хоре ее почитателей? Быть может, только потому, что еще были настоящими студентами, что могли пока спастись от алчной погони и давки, от безудержно бушующего прибою общестственности, на том острове, который ведь также скоро будет смыт.

Обуреваемые подобными мыслями, мы уже намеревались заговорить с философом, когда он внезапно обернулся к нам и сказал смягчившимся голосом: «Мне не следует удивляться вашему юношески неосторожному и опрометчивому поведению. Ибо едва ли вы когда-либо серьезно размышляли над тем, что услышали от меня. Дайте пройти какому-

то времени, носите это с собой, думайте над этим день и ночь, ведь теперь вы стоите на распутье, теперь вы знаете, куда ведут обе дороги. Идя по одной, вы будете желанны своим времени, и оно не поскупится увенчать вас венками и победными трофеями; вас будут нести огромные партии, сзади вас будет идти столько же единомышленников, сколько и спереди. И когда предводитель выкликнет лозунг, то он откликнется эхом во всех рядах. Здесь первая обязанность – бороться сомкнутыми рядами; вторая – уничтожить всех тех, кто не желает выстраиваться в сомкнутые ряды. Вторая дорога сведет вас с более редкими попутчиками, она труднее, извилистее и круче. Над вами будут глумиться идущие по первому пути, а так как вам труднее дается шаг, они будут пытаться переманить вас к себе. Когда же случайно оба пути сойдутся, то с вами обойдутся жестоко, вас отнесут в сторону или боязливо отшатнутся от вас и оставят вас в изоляции.

Что же обозначает собой образовательное учреждение для столь различных путников двух дорог? Та необозримая толпа, которая стремится к своим целям по первому пути, подразумевает под ним институт, при помощи которого она выстраивается в сомкнутые шеренги и который отделяет и выключает всех, кто ставит себе более возвышенные и отдаленные цели. Правда, они умеют пускать в ход пышные слова для обозначения своих тенденций: они говорят, например, о «всестороннем развитии свободной личности в рамках прочных общенациональных и гумано-этических убеждений» или называют своею целью «основание народного государства, покоящегося на разуме, образовании и справедливости».

Для другой, меньшей группы, образовательное заведение представляется чем-то совершенно иным. Она хочет, под защитой прочной организации, оградить себя от опасности быть поглощенной и раздробленной первой группой, хочет уберечь отдельных своих членов, чтобы те не обессилели раньше времени, не сбились с пути, не измельчали, не рассеялись и не потеряли бы таким образом из виду свою благородную и возвышенную задачу. Дать возможность этим отдельным единицам совершить свое дело до конца – таков смысл их совместной организации; при-

чем это дело должно быть очищено от всяких следов субъективного и стоять выше переменчивой игры времени как чистое отражение вечной и неизменной сущности вещей. И все участники этой организации должны приложить совместные старания, чтобы путем такого очищения от всего субъективного подготовить рождение гения и создание его творения. Многие даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований предназначены для такого содействия и лишь путем служения такой истинно образовательной организации приходят к сознанию выполненной ими обязанности. Теперь же именно эти дарования совращаются со своего пути непрерывными ухищрениями и соблазнами модной «культуры» и становятся чуждыми своему инстинкту. К их эгоистическим побуждениям, к их слабостям и тщеславию обращается искушение, именно им дух времени нашептывает: «Следуйте за мной! Там вы слуги, помощники, вспомогательные орудия, вас затмевают блеском натуры высшего порядка, вы никогда не наслаждаетесь своей самобытностью, вас тянут за нитку, вы в цепях как рабы, даже как автоматы. Здесь, у меня, вы как господа наслаждаетесь вашей свободной личностью, ваши способности могут блистать сами за себя, с ними и вы сами будете стоять на первом месте, вас будет сопровождать громадная свита, и одобрение общественного мнения вам будет более приятно, чем похвала, оброненная с высоты гения». Даже наилучшие поддаются теперь искушению таких соблазнов. И, в сущности, податливость или неподатливость таким голосам вряд ли обуславливается здесь степенью одаренности, а скорее уровнем и степенью известной нравственной высоты, инстинктом героизма, самопожертвования и, наконец, стойкой, обратившейся в привычку и руководимой правильным воспитанием потребностью в образовании, чем, как я уже сказал, является, прежде всего, повиновение гению. Но как раз о такой дисциплине, о такой выучке почти не имеют понятия учреждения, которые ныне называются образовательными. Хотя для меня не подлежит сомнению, что первоначально гимназия была задумана как истинно образовательное учреждение такого рода или, по крайней мере, как подготовительная ступень к нему и что в удивительную, обураваемую глубокими идеями эпоху ре-

формации были действительно сделаны первые шаги по этому пути. Мне ясно и то, что во время нашего Шиллера, нашего Гёте снова обнаружились следы той позорно отверженной в сторону или изолированной потребности, как бы зачатки тех крыльев, о которых говорит Платон в «Федре» и которые вырастают у души при каждом соприкосновении с прекрасным и уносят ее ввысь, к царству неизменных чистых прообразов всех вещей».

– Ах, мой уважаемый и чудный учитель, – начал тогда спутник, – после того, как вы упомянули о божественном Платоне и о мире идей, я больше не верю, что вы на меня сердитесь, хотя своей предыдущей речью я вполне заслужил ваше неодобрение и гнев. Как только вы начинаете говорить, я чувствую у себя эти платоновские крылья; и лишь в промежуточных паузах мне, как вознице моей души, приходится напрягать силы для обуздания моего сопротивляющегося, дикого, необъезженного коня, которого Платон также описал и о котором он говорит, что он кривобок и не отесан, с негнущейся выей, короткой шеей, плоским носом, вороной масти, с серыми налитыми кровью глазами, косматыми ушами, туговат на ухо, всегда готов на преступление и низость, так что едва-едва удастся править им при помощи бича и остроконечного шеста. Подумайте о том, как долго я жил вдали от вас и что именно на мне могли быть испробованы все те ухищрения, обольщения, о которых вы говорили, быть может, и не без известного успеха, хотя и незаметно для меня самого. Теперь я понимаю яснее, чем когда-либо, как необходима организация, которая давала бы нам возможность жить вместе с истинно образованными людьми, чтобы иметь в них руководителей и путеводные светочи. Как живо ощущаю я опасность одинокого странствия! И если я мнил, как я вам сказал, спастись от сутолоки бегством и уклониться таким образом от прямого соприкосновения с духом времени, то и само это бегство было обманчиво. Бесперывно, из бесчисленных артерий, с каждым глотком воздуха вливается в нас эта атмосфера, и никакое уединение недостаточно уединенно и далеко, чтобы она не могла настичь нас своими туманами и облаками. Под видом сомнения, выгоды, надежды и добродетели в разнообразных маскарадных одеяниях прокрады-

ваются к нам образы этой культуры; и даже здесь, вблизи вас, т.е. рука об руку с настоящим отшельником образования, этот призрак сумел нас обольстить. Как неизменно и верно должна эта маленькая группа стоять в своей среде на страже образования, которое можно назвать почти сектантским! Как должна она взаимно подкреплять друг друга! Как строго следует порицать здесь ложный шаг, с каким состраданьем прощать! Простите же и меня, учитель, после того, как вы так строго наставили меня на истинный путь».

«Ты говоришь, дорогой мой, языком, которого я не переносу, – сказал философ, – и который напоминает стиль религиозных братств. С этим я не имею ничего общего. Но твой платоновский конь мне понравился, ради него тебе будет даровано прощение. На этого коня я обмениваю свое млекопитающее. Впрочем, у меня мало охоты прогуливаться дольше на свежем воздухе. Поджидаемый мною друг, правда, достаточно сумасброден, чтобы и в полночь прийти сюда, раз он это обещал, но я напрасно жду условленного знака. Не понимаю, что его задержало до сих пор, так как он аккуратен и точен, как все мы, старики, что слишком старомодно для современной молодежи. На этот раз он подвел меня; досадно! Пойдемте же за мной! Пора уходить».

Но в это мгновение показалось нечто новое.

Лекция пятая

Пятая речь,
читанная двадцать третьего марта.

Мои уважаемые слушатели!

Если вы с некоторым сочувствием отнеслись к моему пересказу полных разнообразных аффектов речей нашего философа, раздававшихся в ночной тиши, то вы не менее нас должны быть поражены его последним досадным решением. Он неожиданно заявил нам, что хочет уйти. Оставленный своим другом и мало утешенный тем, чем мы и его спутник оказались в состоянии скрасить его одиночество, он, по-видимому, спешил положить конец бесполезно затянувшемуся пребыванию в горах. День казался ему потерянным; и, стряхивая его с себя, он, очевидно, охотно сбросил бы вместе с ним и воспоминание о нашем знакомстве. Итак, он досадливо торопил нас уходить, как вдруг новое событие заставило его остановиться, и уже поднятая нога нерешительно опустилась.

Наше внимание привлекла разноцветная вспышка огня и раскатистый, быстро смолкнувший гул со стороны Рейна. Сейчас же вслед за этим издали к нам донеслась медленная мелодия, подхваченная, хотя и в унисон, многочисленными юношескими голосами. «Да ведь это его сигнал! – вскричал философ. – Мой друг идет, я не напрасно дожидался его. Это будет полуночное свидание. Но как ему дать знать, что я еще здесь? Ну-ка, вы, стрелки, покажите свое искусство! Слышите строгий ритм приветствующей нас мелодии? Запомните же его и постарайтесь повторить в последовательном ряде ваших выстрелов!»

Эта задача была нам по вкусу и способностям. Мы зарядили поскорее наши пистолеты и, быстро сговорившись, подняли их в звездную высь, между тем, как внизу, после краткого повторения, мелодия постепенно замолкла. Первый, второй, третий выстрелы резко прозвучали в тишине ночи. Вслед за этим философ крикнул: «Вы сбились с так-

та», – так как мы неожиданно нарушили ритм, привлеченные падающей звездой, которая стрелой пронеслась вниз после третьего выстрела, и наш четвертый и пятый выстрелы невольно прозвучали одновременно, в том направлении, куда она пронеслась.

«Вы сбились с такта, – закричал философ, – кто просит вас целиться в падающую звезду? Она разорвется и сама, без вас. Надо знать, чего хочешь, когда держишь оружие в руках».

В это мгновение с Рейна снова понеслась мелодия, подхваченная многочисленными и громкими голосами. «Нас все-таки поняли, – закричал, рассмеявшись, мой друг, – а кто может устоять, когда такой блистающий призрак приближается на расстояние выстрела».

«Тише, – прервал его спутник, – откуда подает нам сигнал эта толпа? Я слышу от двадцати до сорока сильных мужских голосов; откуда же приветствует нас этот хор? Кажется, он еще не покинул той стороны Рейна – однако это мы лучше разглядим с нашей скамейки. Пойдемте же скорее туда!»

С того места, где мы до сих пор прогуливались взад и вперед, поблизости громадного пня, вид на Рейн был закрыт густым, темным и высоким лесом. С нашего же места отдыха, как я уже сказал, лежавшего несколько ниже на склоне горы, чем эта плоская полянка, открывался между вершинами деревьев полукруглый просвет, середину которого занимал Рейн, державший в объятиях остров Нонненверт. Поспешно, но все же сообразуясь с силами нашего пожилого философа, подбежали мы к этому месту. В лесу стоял полный мрак, и, поддерживая справа и слева философа, мы, почти ничего не видя, больше по догадке, пробирались по проложенной дороге.

Едва достигли мы скамеек, как нам сразу бросился в глаза пылающий, тусклый и беспокойный свет, находящийся, очевидно, по ту сторону Рейна. «Это факелы, – вскричал я, – вернее всего, что там мои товарищи из Бонна и что ваш друг среди них. Это они пели, они и провожают его. Смотрите! Слушайте! Теперь они садятся в лодки; через полчаса с небольшим факельное шествие будет здесь».

Философ отпрянул назад. «Что вы говорите! – вскричал он. – Ваши товарищи из Бонна – стало быть, студенты, и со студентами придет мой друг?»

Этот почти со злобой брошенный вопрос взволновал нас. «Что имеете вы против студентов?» – спросили мы, но не получили ответа. Только спустя некоторое время философ заговорил медленно и жалобно, как бы обращаясь к еще далекому другу: «Итак, даже в полночь, друг мой, даже на уединенной горе мы не будем одни, и ты сам ведешь ко мне целую толпу буйных студентов, хотя знаешь, как охотно и тщательно избегаю я встреч с этим *genus omne*¹. Я не понимаю тебя, мой далекий друг. Ведь не пустяки же наша встреча после долгой разлуки, и недаром выбрали мы такой уединенный уголок и необычный час. К чему нам хор свидетелей, и вдобавок еще каких! Ведь сегодня нас сводит вместе не сентиментальная, слабохарактерная потребность, ведь мы оба научились жить одиноко в гордой разобщенности. Не ради нас самих, не ради культа нежных чувств или патетической картины дружеского свидания решили мы повидаться здесь. Мы хотели здесь, где некогда в достопамятный час я нашел тебя в торжественном уединении, подобно рыцарям новой Феме, серьезно посоветоваться друг с другом. Пусть слушал бы нас тот, кто нас понимает, но к чему ведешь ты с собой толпу, которая нас, конечно, не поймет. Я не узнаю тебя, мой далекий друг!»

Мы считали неудобным прерывать столь горько жалующегося человека и, когда он меланхолически умолк, не осмелились ему сказать, как неприятно было нам это недоверчивое пренебрежение к студентам.

Наконец спутник обратился к философу со словами: «Вы напомнили мне, учитель, что в прежние времена, раньше, чем я с вами познакомился, вы учили во многих университетах и до сих пор живы слухи о вашем общении со студентами, о методе вашего преподавания, относящемся к тому периоду. Из безнадежного тона, каким вы сейчас говорили о студентах, многие бы могли заключить, что ваш собственный опыт в этом отношении был неутешителен. Я же, наоборот, думаю, что вы испытали и увидели то же, что и всякий другой, но судили об этом более строго и верно, чем остальные. Ибо от вас я узнал, что самые необычные, поучительные и важные опыты и события – это те,

1 всем родом (лат.).

которые совершаются каждый день, и что именно то, что лежит грандиозной загадкой на виду у всех, лишь немногими понимается как таковая, в силу чего такие проблемы лежат нетронутыми у самой проезжей дороги под ногами толпы и, в конце концов, бережно подбираются немногочисленными истинными философами, чтобы затем засиять в качестве алмазов познания. Быть может, вы нам расскажете в тот краткий промежуток времени, что остается до прибытия вашего друга, о ваших сведениях и опыте в сфере университета и тем завершите круг размышлений, к которым мы невольно пришли в вопросе о наших образовательных заведениях. К тому же да будет мне позволено напомнить вам, что на одной из более ранних ступеней нашего разговора вы даже дали мне такого рода обещание. Вы исходили из гимназии и придавали ей чрезвычайное значение; ее образовательной целью должны были измеряться все остальные учреждения, от уклонения ее тенденции страдали и все остальные. На такое значение движущего центрального пункта не может теперь претендовать даже университет, который в его теперешнем виде, по крайней мере, с одной важной стороны может рассматриваться лишь как надстройка гимназической тенденции. Вы обещали мне изложить подробности позже, что, может быть, засвидетельствуют и наши приятели студенты, так как возможно, что они слышали наш тогдашний разговор».

«Мы подтверждаем это», – присовокупил я. Тогда философ обратился к нам и сказал: «Ну, если вы действительно слушали, то можете мне сказать, что вы понимаете после всего сказанного под современной гимназической тенденцией. Кроме того, вы еще достаточно близки этой сфере, чтобы быть в состоянии проверить мои мысли вашим опытом и впечатлениями».

Мой друг по обыкновению быстро и находчиво ответил приблизительно следующее: «До сих пор мы всегда думали, что единственная задача гимназии – подготовка к университету. А эта подготовка должна нас сделать в достаточной мере самостоятельными для чрезвычайно свободного положения студента. Ибо мне кажется, что ни в одной из областей современной жизни личности не предоставлено решать и распорядиться столь многим, как в области сту-

денческой жизни. Студент должен уметь руководить собой в продолжение многих лет на широком, совершенно свободном поле действия. Следовательно, гимназия должна постараться сделать его самостоятельным».

Я продолжил речь моего товарища. «Мне даже кажется, – сказал я, – что все то, что вы, конечно, вполне справедливо порицаете в гимназии, – лишь необходимые средства для возбуждения в таком раннем возрасте известной самостоятельности или по крайней мере веры в нее. Этой самостоятельности и должно служить преподавание немецкого языка: индивид должен рано сознавать свои воззрения и намерения, чтобы учиться ходить самостоятельно, без костылей. Поэтому его рано побуждают к творчеству, а еще раньше – к строгому обсуждению и критике. Если латинские и греческие уроки не в состоянии зажечь в ученике любовь к далекой древности, то все же метод их преподавания будит в нем научное понимание, пристрастие к строгой причинной связи знания, жажду поисков и открытий. Разве многие из нас не поддаются надолго обаянию науки, благодаря найденной в гимназии и схваченной юношеским восприятием какой-нибудь новой возможности прочтения? Многому должен научиться гимназист и многое собрать в себе. Отсюда, вероятно, и вырастает стремление, руководясь которым он впоследствии в университете подобным же образом самостоятельно учится и собирает. Короче, мы полагаем, что тенденция гимназии в том, чтобы настолько подготовить и приучить ученика, чтобы он впоследствии мог самостоятельно жить и учиться так же, как он должен был жить и учиться под гнетом распорядка гимназии».

Философ рассмеялся на эти слова, однако не совсем добродушно, и сказал: «Сейчас вы дали мне хороший образец такой самостоятельности. Именно эта самостоятельность и пугает меня и делает для меня всегда столь малоотрадней близость современных студентов. Итак, дорогие мои, вы готовы, вы выросли, природа разбила вашу форму, и ваши учителя могут любоваться на вас. Какая свобода, определенность, беззаботность суждения, какая новизна и свежесть воззрений! Вы усаживаетесь на судейских креслах – и культуры всех времен убегают прочь. Научный дух

зажжен, и пламя его языками вырывается из вас – осторожней, как бы от вас не сгореть! Если я возьму вдобавок еще ваших профессоров, то получу еще раз ту же самую самостоятельность, но в более сильной и привлекательной степени. Ни одна эпоха не была еще так богата столь прекрасными самостоятельными личностями, никогда не ненавидели так сильно всякое рабство, включая, конечно, и рабство воспитания и образования.

Но позвольте приложить к вашей самостоятельности масштаб именно этого образования и рассматривать ваш университет лишь как образовательное учреждение. Когда иностранец желает познакомиться с нашей университетской системой, то он прежде всего ставит вопрос: «Чем связан у вас студент с университетом?» Мы отвечаем: «Ухом, так как он слушатель». Иностранец удивляется. «Только ухом?» – еще раз спрашивает он. «Только ухом», – еще раз отвечаем мы. Студент слушает. Когда он говорит, смотрит, находится в обществе, когда он занимается искусством – одним словом, когда он живет, он самостоятелен, т.е. независим от образовательного учреждения. Часто студент одновременно пишет и слушает; это моменты, когда он прикреплен к самой пуповине университета. Он может выбрать, что желает слушать, и ему незачем верить тому, что он слышит: он может заткнуть уши, когда не захочет слушать. Таков «акроаматический» метод преподавания.

Преподаватель же говорит к этим слушающим студентам. То, что он помимо того слушает и делает, непроходимой пропастью отделено от восприятия студентов. Часто профессор, говоря, читает. В целом ему бы хотелось иметь как можно больше таких слушателей; в крайности он довольствуется и немногими, но почти никогда одним. Один говорящий рот, очень много слушающих ушей и вполонину меньше пишущих рук – таков внешний академический аппарат, такова пущенная в ход образовательная машина университета. Во всем остальном владелец этого рта совершенно отделен и независим от владельцев этих ушей; и эту двойную самостоятельность с гордостью восхваляют как «академическую свободу». Кроме того, чтобы еще расширить эту свободу, один может говорить приблизительно все, что он хочет, другие слушать приблизительно все, что захотят. А

позади обеих групп на почтительном расстоянии стоит государство с напряженной физиономией надсмотрщика, чтобы время от времени напоминать, что оно является целью, конечным пунктом и смыслом всей этой странной говорильной и слушательной процедуры.

Таким образом мы, кому разрешено считать этот курьезный феномен образовательным учреждением, сообщаем вопрошающему нас иностранцу, что образование в нашем университете есть то, что передается ото рта к уху и что все воспитание, направленное к образованию, как было сказано, лишь «акроаматично». Но так как слушание и выбор того, что слушать, предоставлены самостоятельному решению свободно настроенного студента, так как последний, с другой стороны, может не признать достоверности и авторитетности всего того, что слушает, то, строго говоря, все воспитание, направленное к образованию, попадает в его руки, и та самостоятельность, за которой гналась гимназия, с гордостью выступает теперь как «академическое самовоспитание для образования» и щеголяет своим блестящим оперением.

Счастливые время, когда юноши достаточно мудры и образованны, чтобы водить самих себя на помочах! Превосходные гимназии, которым удается насадить самостоятельность там, где иным эпохам приходилось насаждать зависимость, дисциплину, подчинение и повинование и отражать все поползновения кичливой самостоятельности! Становится ли вам теперь ясно, милейшие, почему я, с точки зрения образования, обыкновенно рассматриваю современный университет как надстройку гимназии? Вращенное гимназией образование подходит к вратам университета как нечто целое, готовое и разборчивое в своих притязаниях: оно предъявляет требования, оно издает законы, оно судит. Итак, не обманывайтесь насчет образованного студента; поскольку он мнит себя удостоенным посвящения в образование, он все еще остается гимназистом, сформированным руками своих учителей, и, как таковой, с момента своей академической изоляции и окончания гимназии полностью лишен всякой дальнейшей образовательной формовки и руководства; ему предоставляется теперь право жить самому по себе и быть свободным.

Свободным! Исследуйте эту свободу, вы, знатоки людей! Воздвигнутое на глиняном устое современной гимназической культуры, на разваливающемся фундаменте, здание этой свободы покосилось, и каждый порыв ветра угрожает ему. Взгляните на свободного студента, герольда самостоятельного образования, угадайте его инстинкты, уясните себе его потребности! Что вы подумаете о его образованности, если будете мерить ее тремя мерилami: во-первых, его потребностью в философии, во-вторых, его художественным инстинктом и, наконец, греческой и римской античностью как воплощенным категорическим императивом всякой культуры?

Человек до такой степени осажден самыми серьезными и трудными проблемами, что, подведенный к ним правильным образом, рано подпадает под власть того длительного философского изумления, на котором, как на единственно плодородной подпочве, в состоянии вырасти глубокое и благородное образование. Чаще всего к этим проблемам его приводит собственный опыт, и особенно в бурные юношеские годы почти каждое личное переживание отражается двояким образом, как экземплификация повседневности и в то же время вечной, поразительной, достойной объяснения проблемы. В этом возрасте, который видит все свои переживания как бы окруженными метафизической радугой, человек в высшей степени нуждается в руководящей руке, потому что он внезапно и почти инстинктивно убеждается в двояком значении бытия и теряет твердую почву лелеемых до тех пор унаследованных мнений.

Это естественное состояние крайней потребности в руководстве приходится, конечно, рассматривать как злейшего врага той излюбленной самостоятельности, к которой должен быть воспитан образованный юноша нашего времени. Подавить его, парализовать, увести в сторону или исказить – вот над чем усердно трудятся апостолы «современности», перешедшие уже в лоно «самоочевидности». И излюбленное средство здесь – парализовать это естественное философское стремление так называемым «историческим образованием». Одна еще недавно пользовавшаяся скандальной мировой известностью система изобрела даже формулу для этого самоуничтожения философии. И теперь

почти всюду при историческом взгляде на вещи обнаруживается такая наивная беспечность, такое желание свести к «разуму» самое неразумное и выставить белым самое черное, что часто хочется, пародируя Гегеля, спросить: «Является ли это неразумное действительным?» Увы, как раз неразумное кажется теперь единственно «действительным», т.е. действительным, и держать наготове этот род действительности для объяснения истории и означает собственно «историческое образование». В него-то и облеклось философское стремление нашей молодежи, и наши странные университетские философы словно сговорились укреплять его в студентах.

Таким образом, мало-помалу на место глубокомысленного толкования вечно неизменных проблем выступило историческое и даже филологическое взвешивание и вопрошание; что думал или чего не думал тот или иной философ, имеем ли мы право приписывать ему то или иное сочинение или даже какое из разночтений следует предпочесть. К такому нейтральному обращению с философией приучаются теперь студенты на философских семинарах наших университетов. Поэтому я уже давно взял за обыкновение рассматривать подобную науку как разветвление филологии и оценивать ее представителей постольку, поскольку они хорошие или плохие филологи. Но благодаря этому *сама философия* изгнана из университета; чем и дан ответ на ваш первый вопрос об образовательной ценности университетов.

Об отношении этого самого университета к *искусству* нельзя говорить без стыда: этого отношения вовсе не существует. Здесь нельзя найти даже намека на художественное мышление, обучение, стремление, сравнение, и даже о подаче университетом голоса для поощрения самых важных национальных художественных замыслов никто не будет говорить всерьез. При этом, конечно, мы не берем в расчет, когда отдельный преподаватель случайным образом чувствует себя лично причастным к искусству или же когда какая-нибудь кафедра оказывается основана ради эстетизирующих историков литературы. Но как целое университет не в состоянии держать академическую молодежь в строгой художественной дисциплине, и если он здесь, обнаруживая полное безволие, дает совершаться тому, что совершается,

то в этом заключается безжалостная критика его неумеренного притязания представлять собой высшее учебное заведение.

Без философии, без искусства живут наши «самостоятельные» студенты. Откуда же у них может явиться потребность заняться греками и римлянами, стимулировать пристрастие к которым теперь уже никто не имеет основания и которые к тому же восседают в труднодоступном уединении и царственной отчужденности. Поэтому университеты нашего времени, вполне последовательным образом, совершенно не считаются с такого рода отжившими образовательными склонностями и продолжают основывать свои филологические профессуры для воспитания новых эксклюзивных поколений филологов, которым, в свою очередь, предстоит заняться филологическим воспитанием гимназистов: жизненный круговорот, не идущий на пользу ни филологам, ни гимназистам, но в третий раз обличающий университет в том, что последний на самом деле – не то, за что хвастливо желал бы выдавать себя, т.е. не образовательное учреждение. Когда вы отбросите и греков вслед за философией и искусством, то по какой лестнице подниметесь вы до образования? Ибо при попытке взобраться на лестницу без их помощи ваша ученость – позвольте это вам сказать – будет бесполезным грузом висеть у вас на шее, вместо того чтобы окрылять вас и поднимать вверх.

Если вы, как честные люди, остались честными на этих трех ступенях познания и признали, что современный студент не способен и не подготовлен к философии, лишен инстинкта к истинному искусству и является по сравнению с греками только варваром, мнящим себя свободным, то вы не станете обиженно убегать от него, хотя, быть может, охотно уклонились бы от слишком близкого соприкосновения с ним. Ибо *он не виноват* в том, что он таков. Таков, каким вы его узнали, он молча, но беспощадно обвиняет виновных.

Вы должны бы прислушаться к тому тайному языку, которым говорит с самим собой этот без вины виноватый; тогда вы поймете и внутреннюю сущность той охотно выставляемой на показ самостоятельности. Ни один из благородно одаренных юношей не избежал непрерывного, уто-

мительного, дезориентирующего, обессиливающего ощущения неудовлетворительности образования. За то время, когда он, по-видимому, является единственным свободным среди чиновной и служебной действительности, за свою грандиозную иллюзию свободы он расплачивается постоянно возобновляющимися муками и сомнением. Он чувствует, что не в состоянии сам руководить собой, не в силах помочь самому себе. Тогда он безнадежно окунается в мир злободневности и поденной работы; самая *тривиальная* деловитость затягивает его, устало опускаются его члены. Иногда ему снова хочется воспрянуть: он еще чувствует не совсем парализованную силу, которая могла бы удерживать его на поверхности. Гордые и благородные решения зарождаются и растут в нем. Его ужасает возможность так рано погрязнуть в мелочной специализации, и он хвастается за опоры и устои, чтобы не быть унесенным по этому руслу! Напрасно; опоры поддаются – он по ошибке ухватился за ломкий тростник. С безутешным чувством пустоты видит он, как разлетаются его планы; его состояние отвратительно и унижительно: напряженная деятельность сменяется меланхолической апатией. Тогда он становится усталым, ленивым, трусит работы, пугается всего великого и ненавидит себя самого. Он анализирует свои способности и находит только пустые или же хаотически заполненные пространства. С высот измышленного самопознания он снова низвергается в самый иронизирующий скепсис. Развенчивая значимость своих борений, он ощущает потребность в какой-нибудь действительной, пусть даже и низменной полезности. Теперь он ищет утешения в лихорадочной, непрестанной деятельности и прячется от самого себя под ее прикрытие. Таким образом беспомощность и нехватка руководства в образовании толкают его из одной формы существования в другую; сомнение, духовный подъем, жизненные нужды, надежда, уныние бросают его из стороны в сторону, в знак того, что погасли все звезды, руководясь которыми он мог бы направить бег своего корабля.

Такова картина пресловутой самостоятельности и академической свободы, отраженная в лучших и действительно жаждущих образования душах; рядом с ними не могут идти в счет те грубые и беззаботные натуры, которые варварски

радуются своей свободе. Ибо низкопробное довольство последних и их ограниченность своей ранней специализацией свидетельствуют, что это как раз их стихия, против чего не возразишь. Но их довольство поистине не перевешивает страданий одного-единственного влекомого в культуру и нуждающегося в руководстве юноши, который в конце концов малодушно бросает поводья и начинает презирать самого себя. Вот он – без вины виноватый; ибо кто навязал ему непосильную ношу – остаться в одиночестве? Кто побуждал его к самостоятельности в возрасте, когда естественной и ближайшей потребностью является доверчивое повиновение великим вождям и вдохновенное следование по путям учителя?

Как-то страшно думать о тех результатах, к которым ведет энергичное подавление столь благородных потребностей. Тот, кто станет вблизи внимательным взором рассматривать наиболее опасных поощрителей и друзей этой столь ненавистной мне псевдокультуры настоящего, найдет среди них немало таких выродков образования, сбитых с правильного пути; внутреннее разочарование довело их до враждебного и озлобленного отношения к культуре, к которой никто не хотел указать им путей. И это вовсе не самые плохие и незначительные люди, которых мы, в метаморфозе отчаяния, встречаем потом в качестве журналистов и газетных писак; дух известных культивируемых теперь жанров литературы можно было бы даже назвать духом отчаявшегося студенчества. Ибо как иначе понять, например, столь гремевшую некогда «молодую Германию» с ее размножающимися до сей поры эпигонами? Здесь мы словно бы обнаруживаем одичавшую потребность в образовании, разжигающую саму себя до крика: образование – это я! Перед дверьми гимназий и университетов толпится сбежавшая оттуда и теперь строящая независимую мину культура этих заведений – правда, без их учености; так что, например, романист Гүцков может лучше всего сойти за современного, уже литераторствующего гимназиста.

Выродок образования – это вещь очень серьезная: и нас несказанно волнует, когда мы видим, что вся наша общественная ученость и журналистика носят на себе клеймо этого вырождения. Как иначе объяснить поведение наших

ученых, спокойно взирающих на дело соблазнения народа журналистами и даже помогающих ему, если не допустить, что их ученость является для них подобием того, чем для первых служит писание романов, а именно – бегством от самих себя, аскетическим умерщвлением стремления к образованию, безнадежным истреблением индивида. Из нашей выродившейся литературы, так же как из раздувшегося до бессмысленности книгописания наших ученых, несется тот же самый вздох: «Ах, если бы мы могли забыть самих себя!» Но это не удается: воспоминание, не задушенное даже горами наваленной на него печатной бумаги, все же время от времени твердит: «Выродок образования! Рожденный для образования и воспитанный к необразованности! Беспомощный варвар, раб сегодняшнего дня, прикованный к цепи мгновения и голодный, вечно голодный!»

О, несчастные, без вины виноватые! Вам недоставало чего-то, что должно было быть приготовлено для каждого из вас, – истинного образовательного учреждения, которое дало бы вам цели, учителей, методы, образцы, сотоварищей и из недр которого на вас веяло бы возвышающее и животворящее дыхание истинно немецкого духа. Теперь вы гибнете в одичании, вырождаетесь во врагов этого, в сущности, внутренне родственного вам духа. Вы нагромождаете вину на вину – и они более тяжки, чем вина каких-либо других поколений: вы загрязняете чистое, оскверняете святое, восхваляете лживое и поддельное. На самих себе можете вы оценить образовательную силу наших университетов и серьезно спросить себя: что поощряете вы в них? Немецкую ученость, немецкую изобретательность, честное немецкое стремление к познанию, немецкое самоотверженное прилежание – все это прекрасные и великолепные вещи, в которых другие нации станут завидовать вам; да, самые прекрасные и великолепные вещи в мире, если над всеми ими, подобно молниеносной, оплодотворяющей и благословенной туче, простирается тот самый благословенный немецкий дух. Но вы боитесь этого духа, и поэтому над вашими университетами тяжело и душливо нависла другая туча, под гнетом которой с трудом и усилием дышат наиболее благородные из ваших юношей и безвозвратно гибнут наилучшие из них.

В этом столетии была одна трагически серьезная и поучительная попытка рассеять эту тучу, открыть просвет на высокое парение облаков немецкого духа. История университетов не содержит более подобной попытки, и тот, кто захочет убедительно доказать, чего им не хватает, никогда не найдет более ясного примера. Это феномен старых, первоначальных «буршеншафтов».

На войне добыл юноша неожиданный и достойнейший боевой трофей – свободу отечества: украшенный этим венком, он стал мечтать о еще более благородном. Возвратясь в университет, он задыхался в том душливом и спертом воздухе, который охватил все области университетского образования. Внезапно его испуганные, широко открытые глаза увидели искусно спрятанное под всякого рода ученостью не-немецкое варварство, внезапно он открыл, что его собственные товарищи, лишенные руководителя, становились жертвами отвратительного юношеского шатанья умов. Это разгневало его. Он поднялся с тем же видом гордого возмущения, с каким, вероятно, некогда Фридрих Шиллер декламировал своим товарищам «Разбойников»; и если тот на заглавном листе своей трагедии поместил изображение льва и надпись «in tyrannos», то его ученик сам был этим львом, готовым к прыжку. И все тираны действительно затрепетали. Да, эти возмущившиеся юноши не слишком отличались в глазах робких и поверхностных людей от разбойников Шиллера; их речи звучали для испуганного слушателя так, что Спарта и Рим в сравнении с ними казались женскими монастырями. Страх перед этими возмущившимися юношами был даже более велик, чем тот, который некогда внушали «Разбойники» придворным сферам. А ведь о последних один немецкий князь, по словам Гёте, однажды сказал: «Если бы я был Господом Богом и предвидел возникновение «Разбойников», то я не создал бы мира».

Откуда же происходила непостижимая сила этого страха? Ведь эти возмущившиеся юноши были самыми храбрыми, одаренными и чистыми из своих сверстников: великодушная беззаботность, благородная простота нравов выделяла их даже по манерам и костюму, прекрасные обеты соединяли их друг с другом и обязывали к строгой порядочности. Чего можно было тут бояться? Никогда не удастся

выяснить, сколько самообмана и притворства было в этом страхе или же действительного понимания вещей. Но в этом страхе и в постыдном и бессмысленном преследовании слышался голос стойкого инстинкта. Этот инстинкт упорно ненавидел две стороны буршеншафтов: во-первых их организацию как первую попытку истинного образовательного института, и во-вторых, дух этого образовательного института, тот мужественный, серьезный, тяжеловесный, твердый и смелый немецкий дух – дух сына горнорабочего Лютера, сохранившийся невредимым со времен реформации.

Подумайте же о судьбе буршеншафта вслед за моим вопросом: понял ли немецкий университет этот дух тогда, когда даже немецкие князья в своей ненависти по-видимому постигли его? Обвил ли он смело и решительно своими руками самых благородных из своих сынов со словами: «Если только захотите их тронуть, вам придется сначала убить меня»? Я слышу ваш ответ; по нему вы можете судить, является ли немецкий университет немецким образовательным учреждением.

В те времена студент чувствовал, в каких глубинах должно корениться истинное образовательное учреждение; а именно во внутреннем обновлении и возбуждении самых чистых нравственных сил. И это всегда должно быть поставлено в заслугу студенту. На полях сражения он научился тому, чему меньше всего мог научиться в сфере «академической свободы»: что нужны великие вожди и что всякое образование начинается с послушания. И в разгар победоносного ликования, при мысли о своей освобожденной отчизне он дал себе обещание оставаться немцем. Немцем! Теперь он научился понимать Тацита, теперь он постиг категорический императив Канта, теперь восхитился он музыкой лиры и меча Карла Марии фон Вебера. Врата философии, искусства, самой древности распахнулись перед ним, и в одном из достопамятнейших кровавых деяний, в убийстве Коцебу, он с глубоким инстинктом и близорукостью мечтателя отомстил за своего единственного, преждевременно замученного «сопротивлением косного мира» Шиллера, который мог бы быть его вождем, учителем, организатором и которого он теперь оплакивал с такой сердечной горечью.

Ибо несчастье этих владевших даром предчувствия студентов было в том, что они не нашли вождей, в которых нуждались. Мало-помалу они сами стали не уверены, не согласны, не довольны; несчастные случайности слишком скоро показали, что в их среде не хватает такого все осеняющего гения. И упомянутое символическое кровавое деяние обнаружило наряду с ужасающей силой также и ужасающую опасность такой нехватки. У них не было вождя – и в силу этого они погибли.

Итак, я повторяю, друзья мои, всякое образование начинается с противоположности всему тому, что теперь восхваляют под именем академической свободы, – с повинновения, с подчинения, с дисциплины, со служения. И как великие вожди нуждаются в последователях, так и руководимые люди нуждаются в вождях. Здесь в иерархии умов господствует взаимное предопределение, род предустановленной гармонии. Этому вечному порядку, к которому по естественному закону тяготения постоянно снова стремятся все вещи, хочет противодействовать, нарушая и разрушая его, та культура, которая теперь восседает на престоле современности. Она хочет унижить вождей до роли *своих* батраков или довести их до изнеможения. Она подсматривает за нуждающимися в руководстве, когда они ищут предназначенного им руководителя, и притупляет одурманивающими средствами их ищущий инстинкт. Но если, несмотря на это, взаимно предназначенные друг для друга натуры встречаются, израненные после упорной борьбы, то они испытывают глубоко волнующее отрадное чувство, подобно тому, какое возбуждают звуки вечной мелодии струн, – чувство, о котором я хотел бы вам дать понятие путем сравнения.

Приглядывались ли вы когда-нибудь внимательно на музыкальную репетицию к удивительной, сморщенно-добродушной разновидности человеческого рода, из которой обыкновенно вербуются немецкий оркестр? Какая игра своенравной богини «формы»! Что за носы и уши, что за одеревенелые или угловато-сухие движения! Представьте только, что вы глухи и не имеете никакого понятия о существовании музыки и звука, и что вам приходится наслаждаться зрелищем оркестровой революции как чисто пластической игрой. Не затронутые идеализирующим воздействием зву-

ков, вы не сможете досыта налюбоваться этими дубоватыми фигурами, напоминающими средневековую резьбу по дереву, этой безобидной пародией на homo sapiens.

Затем вообразите, что ваша способность воспринимать музыку снова вернулась, ваши уши открылись, и во главе оркестра появился добросовестный махальщик, размеренно отбивающий такт. Комизм фигур для вас уже исчезает, вы слушаете – но вам кажется, что от добросовестно отбивающего такт дирижера на его коллег веет скукой. Вы замечаете только вялость, размягченность, вы слышите лишь ритмические недочеты, мелодические пошлости и тривиальность передачи. Оркестр становится для вас простой массой, вызывающей безразлично докучное или даже неприятное чувство.

Но пусть ваша окрыленная фантазия посадит гения, настоящего гения в центр этой массы – и вы тотчас заметите невероятную перемену. Вам покажется, будто этот гений с быстротой молнии вселился в эти полужвериные тела и будто изо всех их теперь, в свою очередь, глядит лишь *одно* демоническое око. Смотрите же и слушайте – вы никогда не пресытитесь! Рассматривая теперь снова охваченный торжественной бурей или сокровенной жалобой оркестр, вы почувствуете напряжение каждого мускула и ритмическую необходимость каждого жеста, и тогда вы поймете, что такое предустановленная гармония между вождем и ведомыми, и каким образом в иерархии умов все стремится к аналогичной организации. Итак, на приведенном мною сравнении уразумейте, что я хотел бы понимать под истинным образовательным учреждением и почему не вижу в университете ничего даже отдаленно напоминающего это».

Комментарии

Из наследия 1872–1873

О будущности наших образовательных учреждений

Первое предисловие к лекциям «О будущности наших образовательных учреждений» (БОУ) было написано весной 1872 г., второе предисловие, в слегка переработанном виде вошедшее впоследствии в «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам», – летом того же года. Некоторое время Н. планировал публикацию лекций, однако к концу 1872 г. отказался от этой мысли. Пять лекций были прочитаны Ницше 16 января, 6 февраля, 27 февраля, 5 марта и 23 марта 1872 г. Изначально планировавшиеся заключительные шестая, от которой, как пишет Якоб Буркхардт в письме Арнольду фон Салису, «мы ожидали разрешения набросанных столь смелыми и крупными мазками вопросов и проблем» (Friedrich Nietzsche. Chronik in Bildern und Texten. Muenchen-Wien 2000, S. 264) и, возможно, седьмая лекции не состоялись. Черновики и наброски к БОУ см.: ПСС 7, 8[57-66, 69, 70, 76, 82, 84-99, 101, 107, 108, 116, 121], 9[62-64, 66, 68-70], 14[10-26], 18[5-12].

Вступление. *городе ... государства.* – Город Базель является одним из кантонов Швейцарии, то есть исторически имеет права самостоятельного государства.

«скарбом отцов» – И.-В. Гёте. Фауст I, 408.

Лекция 2. *маркиз Поза, Макс и Текла* – герои драм Шиллера «Дон Карлос» и трилогии «Валленштейн».

трагелаф – Козло-олень, фантастическое составное существо. У Аристофана («Лягушки», 937) трагелаф наряду с «конепетухом» символизирует высокопарность и сложность эсхилловской трагедии.

страну ... Грецию. – И.-В. Гёте. «Ифигения в Тавриде». I, 1.

Лекция 3. *словаре Гесихия* – Гесихий из Александрии составил в V в. построенный в алфавитном порядке греческий лексикон, к которому также прилагался словарь греческих диалектов.

когда Тирезий ... страны – Софокл. Эдип-тиран, 353.

Слышал ... падающей статуей? – Аристотель. «Поэтика», 1452a. Ср.: ТГЗ, «О дарящей добродетели», 3 (ПСС 4, с. 81, стр. 26-27).

Лекция 4. *«верному Эккарту»* – сказочный персонаж, старик, выполняющий функции доброго гения, стража, охраняющего от нечистой силы. См. одноименное стихотворение Гёте (на русском – в переводе В. Левика).

страхнув ... чад – И.-В. Гёте. «Фауст». I, 395.

«Почтения ... бег» – И.-В. Гёте. «Фауст». I, 3860-3862.

идеальные зрители – Определение А.-В. Шлегеля, которое Н. критикует в РТ (См.: ПСС 1/2, с. 48-49).

без стыда ... борьбой. – Пер. И. Эбаноидзе. Ср.: ДШ (наст. том., с. 30-31).

Клетцами и Гёцами – см. прим. к ДШ 4.

Платон в «Федре» – 253 d-e.

Лекция 5. *новой Феме* – Н. имеет в виду «суд Феме» – тайный трибунал в Германии, в первую очередь, Вестфалии XII (или, возможно, ранее)– XVI вв., по сути творивший самосуд над обвиняемыми в особо тяжких преступлениях и ересьях. В используемой в тексте аналогии Н. подразумевает не инквизиторские функции, а романтический ореол трибунала Феме, члены которого составляли своего рода тайное братство и могли узнать друг друга по особым опознавательным знакам и сигналам.

природа ... вашу форму – «Природа отлила его и разбила ляло» (Лудовико Ариосто. «Неистовый Роланд». М., 1993. С. 177. Пер. М.Л. Гаспарова).

«акроаматический» – воспринимаемый через слух.